Créme de la Créme

Марсель Жуандо

МОЙ БЕСТИАРИЙ

Перевод
Татьяны Источниковой

Kolonna Publications
Митин Журнал

ББК 84.4 Фр.

Marcel Jouhandeau
Animaleries
Animaux Familiers

Редактор: Дмитрий Волчек
Обложка: Алексей Кропин
Верстка: Сергей Фёдоров
Руководство изданием: Дмитрий Боченков

В оформлении обложки использован портрет Марселя Жуандо с Красоткой и Лоретттой, 1954, фотография Бориса Липницкого

© Editions Gallimard, 1961, 1947
© Kolonna Publications, 2016

ISBN 978-5-98144-226-1

Содержание

Питомцы

Голуби 25
Старость Дуду 39
Дрозд 49
Фигаро 52
Лоретта 56
Красотка 97

Домашние любимцы

Маленький бестиарий 141
Минос и я 167
Жизнь и смерть петуха 196

ПИТОМЦЫ

Если по отношению к людям мы
соблюдаем законы и справедливость,
то животные для нас – объект чувств,
проистекающих из того щедрого источника
человечности, что природа в нас поместила.

Плутарх, «Жизнь Катона»

Народ афинский, после того
как строительство Гекатомпедона было
завершено, отпустил всех вьючных
животных, что возили грузы для его
постройки, и предоставил им свободно
пастись весь остаток жизни.
Один из них однажды сам явился
наниматься на работу; он шел впереди
остальных, что тянули нагруженные повозки
в цитадель, и казалось, что он призывает
и вдохновляет их на труд. Афиняне издали
особый указ, по которому его следовало
кормить до самой смерти за счет государства.

Плутарх, «Жизнь Пелопида»

У могилы Симона все еще можно увидеть
скульптурное изображение двух кобылиц,
благодаря которым он трижды удостаивался
наград на Олимпийских играх.

Многие афиняне хоронили собак,
которых всю жизнь держали при себе,
кормили и воспитывали.
Когда народ афинский покинул город,
чтобы укрыться на острове Саламин,
и Ксантипп отчалил от берега, его собака
последовала за его галерой вплавь
и, добравшись до берега, испустила дух.
Ксантипп велел ее похоронить, и до сих пор
еще можно увидеть ее могилу у моря.
На самом деле не стоит относиться
к живым существам как к обуви или другим
вещам, которые выбрасывают, когда они
порвались или износились. Стоит взять
в обычай быть добрым с животными, хотя бы
только для того, чтобы научиться проявлять
человечность и по отношению к людям.

Плутарх, «Жизнь Катона Старшего»

Моя знакомая рассказывала о том, что ей довелось наблюдать у ее соседей, полностью посвятивших себя животным.

Они приручили пару дроздов – до такой степени, что те доверяли им присмотр за своими птенцами. Две собаки, которых хозяева этому научили, охраняли гнездо, чтобы отпугивать кошек.

Во время последней войны они приютили у себя барана, бриарских овчарок, кроликов, разнообразных птиц, – и вся эта живность ела одну и ту же еду, с огромного общего блюда, без малейших разногласий.

Андре рассказывал мне историю о попугаях, живших в Испании в дупле дерева.

Когда мать умерла, оставив недавно вылупившихся птенцов, отец в одиночку заботился об их пропитании и ревностно оберегал их.

Но боль утраты и чрезмерные усилия истощили его, и однажды он больше не смог двигаться. Тогда дети, в свою очередь, принялись кормить его, вплоть до того дня, когда он умер, уже не в силах раскрыть клюв.

Всё его потомство с опечаленным видом собралось вокруг него и оставалось неподвижным, в полном молчании, до тех пор, пока разложение, охватившее тело отца, не заставило их его покинуть.

Сильнее всего животных ослепляет внезапный свет ночью в сельской местности. Вспо-

минаю сову, оказавшуюся прямо перед нашим автомобилем, посреди дороги, словно завороженную светом фар. Мой друг, сидевший за рулем, едва успел затормозить, чтобы дать ей возможность улететь – мы были уже в нескольких метрах от нее, а она все еще оставалась на месте. И вдруг она мгновенно, одним взмахом крыла, взмыла в воздух, четко рассчитав свою траекторию – ее крыло скользнуло в сантиметре от нашего капота.

Вандейский гриффон по имени Медор страстно привязался ко мне во время отдыха в Галанде.

Каждое утро он ждал под моими окнами, когда я открою ставни, и так же внимательно наблюдал, как я закрываю их вечером. Днем он не отходил от моей двери, поджидая, пока я выйду, чтобы сопровождать меня везде, куда бы я ни пошел.

Сегодня я отправился по делам в Виллешелль-ле-О, и Медор следовал за мной по пятам – и вот, когда мы уже добрались до цели, он вдруг стрелой помчался по той же дороге в обратном направлении.

Когда я возвращался, полчаса спустя, то спросил о нем у попавшегося мне на глаза крестьянина, который возился в саду.

– А, он погнался за моей сукой, у нее течка, – ответил тот, – и до сих пор их не видно.

В этот момент заросли растений позади живой изгороди подозрительно зашуршали,

и оттуда выскочила взъерошенная собака, та самая, о которой шла речь, а следом за ней – ее запыхавшийся кавалер.

Заметив меня, он на какое-то время застыл на месте, придя в замешательство и словно чего-то ожидая – может быть, пытаясь сделать выбор между обязательствами дружбы и удовольствиями любви.

Наконец взбалмошной девице прискучило ждать, и она помчалась прочь резвым галопом – ну разумеется, ведь это она его совратила! – и он последовал за ней, но всё же обернулся, прежде чем скрыться из вида, и адресовал мне немое послание, которое я, благодаря выражению его лица и всей его красноречивой манере поведения, смог перевести достаточно близко к оригиналу:

– Тысяча извинений, но, пожалуйста, подожди меня. Это не займет много времени.

Колокола на деревенской церкви прозвонили полдень. Мадам Апремон не выносила ни малейших опозданий, когда завтрак был уже готов, и мне пришлось уйти.

Прошел еще час. Мы приступили к десерту, как вдруг входная дверь задрожала от удара снаружи, и я услышал, как Медор скулит.

Он закончил все свои дела и, вероятно, полагал, что я сержусь на него за опоздание.

Чтобы его успокоить, я ласково заговорил с ним. И тогда, не обращая внимания на возмущение и ужас мадам Апремон, думая лишь о том, чтобы доказать мне свою преданность

и стереть малейшее подозрение в его равнодушии, которое могло у меня зародиться, Медор запрыгнул в комнату через открытое окно и бросился к моим ногам, притащив с собой и весь тот мусор, что собрал по дороге. Можно представить себе, сколько грохота, воплей и всеобщего драматизма вызвал этот поступок, – но нам, ему и мне, это было безразлично, наши сердца были вместе и бились в унисон, как никогда.

Животные, как мне кажется, подчиняются правилам не столько этикета, сколько житейской мудрости и подобающего в тех или иных ситуациях поведения – здесь они вполне достойны служить нам образцом.

Медор, например, никогда открыто не проявлял своей привязанности ко мне, если хозяин был рядом, – лишь мимоходом тыкался носом мне в руку, но никогда меня не сопровождал. В такие моменты его взгляд становился еще более выразительным, чем обычно; он словно хотел сказать:

– Сейчас я должен быть рядом с тем, кто меня кормит, но мое сердце всегда с тобой.

Он позволял себе прогулки со мной, лишь будучи свободным – когда его хозяин был в Виши, где пил целебную воду.

Что делает наши отношения с животными столь трогательными, – это то, что есть в них необъяснимого, то, что всегда остается тайной, поскольку невыразимо. Можно долго

размышлять о смысле их молчания, их восторженных порывов, их взгляда, преисполненного деликатности. Но для людей по натуре грубых или вечно спешащих любое послание, выраженное подобным языком, напрасно.

Семилетняя Мари сказала селезню, который встал у нее на пути и смерил ее взглядом:

– Да, ты имеешь право смотреть на меня вот так, будто из-под козырька. Вчера мы убили твою жену, а сегодня съели ее на обед.

Выражение «из-под козырька» показалось мне очень точным – хотя, конечно, она имела в виду «исподлобья». Но взгляд у селезня был именно такой. С тех пор всякий раз при виде жокея в шапочке с козырьком я вспоминаю этого селезня.

Загадка идентичности.

Та же Мари спрашивает:

– Дядя Марсель, а кошка знает, что она кошка?

И еще:

– А когда кошка смотрится в зеркало, она понимает, что это она?

Говорят, что некоторые змеи намеренно украшают своих жертв, прежде чем убить, – именно для этого они обвиваются вокруг их шеи, как драгоценное колье, и только потом жалят. Это своего рода ритуал.

Кошки Леонор Фини* не похожи ни на каких других. У одной из них нет профиля, только анфас – огромные глаза и совершенно плоский нос, отчего мордочка похожа на раздавленную тутовую ягоду. Я еще никогда не видел, чтобы животное способно было так быстро появляться и исчезать, бросая на вас мимолетный взгляд и в следующий миг отворачиваясь с высокомерным видом, словно вы какой-то малозначительный предмет, не достойный внимания.

Пристальный интерес у них вызывают только цветы, венчики которых они порой объедают или просто нюхают, наслаждаясь ароматом, – такое ощущение, что перед ними бифштекс. Кошки Леонор – настоящие лотофаги. Они одновременно воплощают и источают презрение.

Прямо сейчас, когда я пишу эти строки, какая-то птичка расположилась на моем окне среди побегов вьюнка и душистого горошка, на расстоянии вытянутой руки. Я говорю с ней, и она мне отвечает. Это продолжается уже почти десять минут, и она смотрит на меня без всякого страха. Ее почти незаметное присутствие сначала меня несколько смутило, а потом, наоборот, вызвало умиротворение. Доверие, которое она мне оказала, наш разговор, ее дружелюбие придали мне веры в самого себя, в жизнь, в Бога.

---

* Леонор Фини (1908–1996), художница.

Она ко мне полностью привыкла. Я так и не понял, кто это – размером не больше воробья, но с зеленым галстучком и коротким тонким клювом. Чуть покачавшись на веревках, которыми были подвязаны растения, она непринужденно впорхнула в мой кабинет и принялась его исследовать. Я закрыл окно – мне хотелось показать ее Элизе*. Гостью это ничуть не испугало. Когда я распахнул окно снова, она не торопилась улетать – еще долго сидела на подоконнике, иногда поклевывая молодую рассаду в цветочных ящиках. Потом взлетела, опять вернулась, словно удерживаемая, как невидимой нитью, моим взглядом или голосом – и наконец исчезла.

Вчера вечером, около шести, я, прогуливаясь по городу, оказался довольно далеко от дома в поисках своих любимых хлебцев, которые булочница из Тура называет «обсыпными», – они похожи на те, что моя бабушка пекла на продажу в Шаминадуре**.

Дойдя до площади Сан-Фердинанд, я заметил группу людей, собравшихся, как выяснилось, вокруг птенца дикого голубя, который метался, охваченный ужасом, не в силах взлететь, на глазах своей матери, такой же испуганной и бессильной ему помочь. Ему слишком

---

* Элизабет Тулемон (1888–1971), жена Марселя Жуандо.

** Так Марсель Жуандо называл в своих произведениях городок Герет, где он родился.

рано позволили вылететь из гнезда, и слишком слабые крылья не могли поднять его обратно. С наступлением темноты он был обречен стать добычей кошек. Я предложил забрать его к себе и оставить, пока не подрастет. Все собравшиеся одобрили мое намерение.

Можно представить, как обрадовалась Селина*, когда я, придя домой, слегка приоткрыл
 отворот пальто, за которым скрывался птенец.

Элиза окрестила его Дружком и предоставила свободно обитать в ванной комнате после того, как он выразил явное недовольство клеткой из ивовых прутьев, в которой раньше жила сорока.

«Ну и дела», – озабоченно подумал я через неделю, когда его клюв затвердел, желтый пух вылез, сменившись оперением, а размах крыльев стал вполне достаточным для свободного полета, в который он и отправился.

И вот вчера, едва лишь я переступил порог той самой булочной, неподалеку от которой подобрал Дружка, ко мне подошла пожилая дама, которая видела, как я его уносил.

– Месье, вы совершили добрый поступок, можете им гордиться! – воскликнула она. – Пойдемте со мной, сейчас вы увидите!.. – И, когда мы вышли на улицу, она указала мне на карниз портика над входом, где сидел мой питомец возле своей матери, с которой он воссоединился.

---

* Марсель и Элиза Жуандо удочерили Селину в 1949 году. Ей посвящена книга «Школа девочек» (1960). Позднее Жуандо усыновил ее сына, Марка.

– Видите ли, я их всех знаю, всю местную живность, – продолжала она, – точно так же как знаю по именам или по кличкам всех здешних жителей, в том числе и клошаров. Этот район, площадь Сан-Фердинанд, – самое закрытое место во всем Париже. Я имею в виду, что тут все живут особняком и общаются только между собой, а чужаков избегают.

Ложное ли это впечатление? Самыми удивительными из всех животных, рожденных и живущих, мне представляются петух и курица – удивительными не тем, что они понимают, а тем, что они есть и созданы именно такими.

Возможно, не существует других созданий, столь строгих по части единства формы. Если какой-то цыпленок позволит себе появиться на свет с лишним пальцем, то рано или поздно мать и братья его убьют.

Мне рассказывали, что однажды под белую курицу подложили десять яиц, и один из вылупившихся цыплят оказался черным. Ни сама курица, ни все остальные цыплята не захотели терпеть его рядом с собой, словно дело происходило в Соединенных Штатах. Ему пришлось спасаться бегством и искать убежища у черной курицы, которая его приняла.

В одной римской газете от 21 ноября 1953 года описан случай в цирке: дрессировщик, готовясь выполнить сложный трюк в присутствии двух львов, львицы и трех тигров, потерял

равновесие и поскользнулся. Когда он упал навзничь, самый злобный из тигров по кличке Лютый прыгнул к нему с явным намерением растерзать – и вдруг путь хищнику преградила львица, которая без всякой злобы, одним разворотом плеча, его остановила, точно рассчитав силу лишь для того, чтобы не дать ему приблизиться к человеку. Дрессировщик
20 тем временем успел вскочить на ноги и схватить хлыст, восстановив таким образом свой прежний авторитет.

За этот поступок львица удостоилась бесчисленных ласк со стороны того, кого она спасла, возможно, из любви к нему. Также она была вознаграждена обильным изысканным ужином. Однако в ту же ночь весь цирк пробудился от ужасных душераздирающих воплей, а затем львица была найдена мертвой – ее из мести загрыз тот самый тигр, которому она помешала напасть на человека.

Одна банковская служащая рассказывала, что, уходя на работу, оставляла своего пуделя на попечение консьержки.

Там же, в небольшой комнатке, обитал кот, которого Тоби очень любил передразнивать. Если кот задирал хвост, пудель делал то же самое. Когда кот чесал лапой за ухом – Тоби повторял за ним и этот жест.

Все изумлялись этому необычному подражанию, в котором сквозила насмешка, почти ирония.

Кухарка семьи *X.* держала у себя пару золотоголовых канареек, которых она обожала, холила и лелеяла.

Однажды хозяин дома явился к ней, когда она стряпала, и сказал:

– Я слышал, Регина, что вы непочтительно отзываетесь о моих сестрах. Если это повторится, я сверну шеи вашим канарейкам.

Несколько недель спустя Регина, то ли вновь сказавшая в адрес сестер хозяина что-то нелицеприятное, то ли ставшая жертвой клеветы, – вернувшись с рынка, нашла своих любимцев обезглавленными.

Когда настал час обеда, ее стали искать, но напрасно – она больше никогда не появилась.

Мои знакомые продавцы газет с авеню Малакофф рассказали мне историю о коте, принадлежавшем одной из живущих по соседству женщин, их покупательнице. Она его почти не кормила и плохо с ним обращалась. Однажды, после особенно жестокой трепки, он ушел из дома, вероятно, решив скорее умереть от голода под открытым небом, чем дальше сносить унижения.

Мои знакомые, наблюдавшие из своего киоска за перипетиями этой драмы, видели, как он бродит по окрестностям, словно неприкаянная душа, и наконец, восхищенные его чувством собственного достоинства, сделали специально для него лаз в своем киоске,

чтобы несчастный мог найти кров и всё самое необходимое на связках газет, громоздившихся позади прилавка.

С тех пор прошел уже год, и каждое утро, в очень ранний час, едва выйдя из метро «Порт-Майо», в любую, даже ветреную и дождливую погоду, они видели Кики, сидевшего на углу улицы или на кромке тротуара, – кот поджидал их и всякий раз устраивал им торжественную встречу, а потом шел за ними и не покидал их до самого вечера: он терся о их ноги, сидел у них на коленях и лишь старался оставаться незаметным для посторонних, чтобы случайно не попасться на глаза искавшей его мегере-хозяйке.

Если вдруг ему казалось, что они о нем забыли, он тянул их за рукав или лизал руку.

– И еще говорят, что кошки привыкают только к дому! – возмущался один из продавцов. – У этого всего лишь немного места в нашей хибарке – и он так ласков с нами, что нам даже неудобно – мы чувствуем себя перед ним в долгу. У него более щедрое сердце!

На рассвете, в четыре утра, когда все, кроме него и меня, еще спят, дрозд, сидящий на самой высокой трубе противоположного дома, начинает петь, сначала негромко, словно выверяя свою мелодию, пробуя ее на вкус, а затем, убедившись, что с ней всё в порядке, рассыпает звонкие ноты во все стороны, словно огни фейерверка.

Одна крестьянка рассказывала мне, что деревенские дети самым естественным образом уделяют больше внимания животным, чем людям; что они подражают блеянью овец или крикам петуха раньше, чем учатся говорить «мама» и «папа», и что это хорошо, потому что в дружбе с животными нет места для ссор – они, словно наши первые игрушки, только радуют нас, тогда как наши собратья в большинстве случаев становятся для нас источником мучений.

Любопытно отметить, что о разуме и достоинстве, изначально присущих человеку, мы чаще всего вспоминаем в тех случаях, когда отдельные люди ведут себя хуже, чем животные.

В «Жизни Ромула» Плутарха можно встретить похвалу грифу, который никогда не причиняет вреда тому, что люди сеют и выращивают, включая животных: он питается лишь падалью, никогда не убивая и не раня живых существ, даже если очень голоден, и – несомненно, из уважения к созданиям своего вида, – позволяет себе есть только мертвых птиц.

Возможно, именно благодаря этому он пользовался у индейцев особым почтением.

В Шаминадуре семейство забойщиков скота по фамилии Жанро рассказывало, что к ним повадилась летать одноногая синица – дважды в день, утром и вечером, всегда в одно

и то же время, она садилась на подоконник и клевала крошки, специально рассыпанные там для нее. Удивительнее всего было то, что, хотя синица из-за своего увечья была вынуждена отказаться от сезонных перелетов, обычных для ее вида, каждый раз, когда ее собратья улетали или возвращались, они непременно наведывались к ней в гости.

По рассказам того же семейства, у местного поэта, Раллина, был пес по кличке Пистолет, который служил ему курьером. «Сбегай передай Алуо, что я их жду сегодня к обеду», – командовал поэт. Семья Алуо жила в двух километрах от Фресслина, по дороге к Крозану. И вот Пистолет отправлялся в путь. При виде него Алуо понимали, о чем идет речь, приводили себя в порядок и следовали за ним.

ГОЛУБИ

Мои семь голубей образуют единое созвездие, от которого ни один не позволяет себе отделиться. Они всегда перемещаются стаей и разлетаются в разные стороны лишь для того, чтобы тут же соединиться вновь.

Вечером они устраиваются ночевать под крышей, над моим окном, и с наступлением темноты уже спят, давно перестав вспархивать в ужасе, когда я закрываю ставни. Они поняли смысл и необходимость этой церемонии, сочтя ее раз навсегда предписанной и неотменимой во веки веков. Лишь слегка ворочаются, даже не просыпаясь.

Двое белых голубей мало-помалу привыкли ко мне и вскоре стали совсем ручными. Когда я рассыпал для них конопляное семя в саду, они порхали вокруг меня так близко, что казалось, будто у моего шелкового халата выросли разноцветные крылья, и он взлетает и кружится в воздухе.

Среди моих голубей был также один розовый, которого я прозвал «Тельцом» из-за хрип-

лых протяжных криков, чем-то похожих на мычание, которые он порой издавал, раздув горло и выпятив грудь. Если у вас есть розовый голубь и вы не видели его больше трех дней, то, конечно, вы беспокоитесь и начинаете поминутно его высматривать. Где же он? Я не сводил глаз с горизонта. Он не возвращался. То ли сосед-гурман убил его, чтобы съесть,

то ли влюбленная голубка похитила его у меня.

Странным образом этот крылатый телец напоминал мне моего друга Монтерлана*.

Фамильярность моих голубей в обращении со мной заставляет меня задумываться о том, чего в ней больше – ласки или насмешливости. Когда я прохожу по саду второпях, не обращая на них внимания, они пролетают надо мной так низко, что почти задевают меня крыльями, словно бы специально для того, чтобы сбить с меня шляпу.

Один из двух павлиньих голубей, которых Ногез подарил мне, когда я уезжал из Авиньона, исчез. Но, словно в утешение, после долгого отсутствия меня вновь навестил незнакомец, дважды окольцованный, очень редкой породы – как раз в тот день, когда Робер появился в моем доме. Поэтому я назвал голубя Ангелом – он стал для меня ангелом Благовещенья. Самый красивый из всех, которых я когда-либо видел, более непринужденно держащийся

* Анри де Монтерлан (1895–1972) – прозаик и драматург.

со мной, чем все остальные, он запросто расхаживает по бумаге, на которой я в это время пишу, и ночует в моем кабинете. Как символично!

Я уж не говорю о своих семи монстрах, которые всё чаще принимают меня за бревно или пустое место – они пролетают прямо у меня над головой, а потом рассаживаются на книжных полках. Если в это время мне на затылок падает горячая капля, им точно так же не приходит в голову извиняться, как мне – обижаться. Когда они начнут гнездиться у меня в карманах, мне придется оставаться неподвижным, чтобы их не побеспокоить.

Жара сегодня столь изнурительна, что мои голуби забились под крышу и жмутся на карнизе, слишком узком, так что одна лапа и одно крыло у каждого из них все же попадают под лучи солнца, отчего они становятся похожи на прикованных к галере гребцов.

Полностью в тени – лишь павлиний голубь из Авиньона, чьи короткие маховые перья не позволяют ему присоединиться ко мне, но его небольшой живой глазок постоянно следит за окном, где он всегда оказывается первым во время кормежки, и я щедро угощаю его.

Павлиний голубь оказался голубкой. Вчера вечером ее забыли в саду. С наступлением но-

чи она, оставаясь на земле, ослепительно-белая на темном фоне, с беспокойством думала о том, как бы не оказаться во время сна добычей Дуду, ее злейшего врага. Но вот преимущество интеллекта! – перепархивая со ступеньки на ступеньку крыльца, а затем с одного столбика перил на другой, она в конце концов оказалась прямо напротив моих окон, в надежде, что я ее замечу.

Не отрывая глаз от спасительного света, льющегося изнутри, она, должно быть, говорила себе: вот сейчас, с минуты на минуту, он наверняка посмотрит в окно! Что я и сделал – и как было ее не заметить, эту белую лилию в ночи? Я тут же впустил ее, и мы оба были в одинаковом восторге от того, что так хорошо друг друга поняли.

Когда мои голуби собираются слететь вниз, к кормушке, где я рассыпаю для них зерно, они похожи на дам, подбирающих шлейфы своих платьев перед тем как сойти на тротуар.

Вчера вечером я был встревожен – Вероника не появилась на ужине голубиного сообщества. Я уже боялся, что она умерла – но нет, с наступлением темноты она вернулась и расположилась на ночлег на своем привычном месте, как всегда, чуть в стороне от остальных.

Моя маленькая Вероника здесь, я это знаю – цепляется за оконную ставню, одна, совсем

одна, с лихорадочно бьющимся сердцем и полузакрытыми глазами. Изгнанная отовсюду своими собратьями, которые не могут простить ей, что она хохлата, Вероника отчаянно нуждается в убежище – и разве я могу отказать в нем? Она знает, что я еще не сплю (свет в окне говорит ей об этом), но боится, что я забыл о ней и, слишком резко захлопнув ставни, сброшу ее в темноту. Боже упаси! Скорее я вовсе не стану их запирать, лишь бы она была спокойна.

Вернувшись после отдыха, я обнаружил своих голубей в разгар линьки, будто ощипанных. Но едва лишь они меня узнали, как тут же слетелись ко мне без всякого страха и устроили мне роскошный прием: все, особенно пара белых голубок, смотрели на меня с неким подобием улыбки, которую они не смогли бы изобразить каждый по отдельности, но которая словно реяла в воздухе, одна на всех, едва заметно отражаясь в крошечных складках около клювов и в глазах. Было очевидно, что они невероятно рады вновь встретиться со мной.

Что меня ужасно расстроило – Адонис исчез. Это был патриарх всей стаи. Быть может, тоска по мне заставила его покинуть родные места? Или он попал в ловушку? Если он решил отправиться на мои поиски и заблудился, как это было бы трогательно и вместе с тем несправедливо!

Бютор*, его сын, тот самый, чьи перья были необыкновенного розоватого оттенка, сразу же вернулся к своей бесцеремонной манере в обхождении со мной: сначала потоптался у меня на плече, хлопая крыльями, потом резко вспорхнул, пролетел у меня над головой и уселся на неисправные настенные часы. Казалось, он развлекается, по своему обыкновению пугая меня похожими на мычание криками. Воистину необычная кукушка!

С тех пор как Адонис исчез, две белые голубки тесно сблизились и больше не расстаются, словно две сестры-вдовы. Может быть, он, ухаживая за ними, не особенно их различал.

Вероника, дымчато-черная, невероятно изящна, ее очертания идеальны. Она пьет воду из клюва Бютора, и я немного скандализирован этим зрелищем.

Вчера вечером мы с Элизой вышли в сад, и Дуду, воспользовавшись нашим отсутствием, проскользнул в мой кабинет, а затем проник в то единственное место, которое было для него запретным: подвешенную за окном птичью кормушку, где я рассыпал зерно для голубей. Легко вообразить их цепенящий ужас, если бы они, в надежде получить хлеб насущный, вместо этого столкнулись носом к носу

* Butor – грубиян, тупица.

со зверем Апокалипсиса, чьи когти и видневшиеся в разверстой рычащей пасти клыки уже готовы были их растерзать.

Ах! надо было видеть выражение его прекрасных ярко-зеленых глаз, горевших вожделением, в тот момент, когда я подхватил его под передние лапы и понес к двери. В моих руках он застыл неподвижно, горделивый и чуждый угрызениям совести, совсем как те профессиональные убийцы, которые, оказавшись в наручниках раньше, чем совершили очередное преступление, сожалеют лишь о том, что не довели дело до конца.

Вероника, отодвигаясь всё дальше вдоль карниза, безуспешно пытается противостоять атакам дикого голубя, который задался целью ее обольстить. Несмотря на те вольности, которые она позволяла себе с Бютором, я думаю, что она девственница и твердо решила остаться таковой. Она всегда держится особняком. Между ней и Бютором нет ничего, кроме дружбы. Бедный дикий голубь! Он всерьез решил ею овладеть, и ничто его не обескураживает. Стоит ей отодвинуться на пару шажков, он, пританцовывая, следует за ней. Если она вспархивает, он тоже. В конце концов они возвращаются на прежнее место, и всё начинается сначала – он неотступно следует за ней, кружась, как танцующий дервиш. Вот он снова раздувает горло и выпячивает грудь. Его воркование я слышу издалека.

Сквозь дымчато-черный плащ Вероники проглядывает белоснежное, словно у горностая, одеяние. Ее маленькая изящная головка увенчана острым хохолком, напоминающим головные уборы средневековых дам.

Голубиное сообщество взволновано. Позавчера двое птенцов впервые покинули гнездо.

Весь вчерашний день они провели на карнизе дома напротив нашего, не решаясь слететь оттуда в сад, даже в сопровождении родителей, которые много раз показывали им, что нужно делать, – но дети так и оставались на месте.

Сегодня утром, перед очередной попыткой, родители их покормили – забавно было наблюдать, как четыре пары крыльев трепещут в воздухе, окаймляя четыре соприкасающихся клюва. Птенцы довольно попискивали, насыщаясь, и эти звуки привлекли внимание кошек – те собрались у подножия стены и терпеливо ждали, пока один из птенцов не свалится вниз, чтобы немедленно его сожрать.

Событие явно выходило за рамки семейного – все остальные члены голубиной стаи держались в некотором отдалении, но не улетали, а внимательно наблюдали за происходящим, намереваясь дождаться предстоящего воздушного крещения. Надо заметить, что последние несколько дней никто из взрослых птиц, очевидно, из опасений, как бы птенцы не начали им подражать, ни разу не приземлился

на клумбы или аллеи сада, даже когда я рассыпал там для них зерно.

И вот теперь они собираются лицезреть первый вылет. Они не отрывают глаз от птенцов, подбадривают их криками и жестами, непрерывно воркуют. Но страх все еще удерживает детей на краю бездны. Наконец, чтобы замаскировать его или подать пример собрату, один из них бросается вперед. Писк и шорох голубиных лапок по карнизу, непрерывно сопровождающие эту трагедию и одновременно триумф, заглушают все остальные звуки в округе. Кажется, что Небо и Земля молча, затаив дыхание, замерли вокруг этих хрупких существ, столь беспомощных и уязвимых.

Работая по утрам, я наблюдаю, как просыпается белая голубка, живущая за окном моего соседа напротив, под шкафчиком для провизии. Сначала она оглядывается по сторонам, словно желая удостовериться, что вокруг всё как прежде; затем ее взгляд останавливается на птенцах, которые тоже просыпаются примерно в это время – они обитают в коробке, подвешенной у меня за окном, и самый бойкий уже выпорхнул из нее, чтобы нанести мне визит, прежде чем отправиться к матери.

Вчера вечером, не заметив, что один из них уцепился за персидскую штору, я, закрывая ее, нечаянно его сбросил. Однако он сумел восстановить равновесие и избежать падения, по-

сле чего, выровняв полет, унесся прямо к зениту. Я никогда его больше не видел.

Чета голубей, ожидающих прибавления в семействе, начала вить гнездо у меня в кабинете, среди подшивок «Нового французского обозрения». Каждую минуту кто-то из них влетал в приоткрытое окно, толкнув его крылом, с прутиком или соломинкой в клюве. Я им не мешал, и, хотя несколько газетных стопок наверняка пострадали, было так приятно провести ночь, лежа без сна, рядом с этим гнездом.

И вот сегодня утром, увы! страсть Элизы к порядку вынудила меня их прогнать. Глава голубиного семейства столь ожесточенно сражался, пытаясь перебороть нашу волю своей, что весь мой кабинет оказался усыпан пухом и перьями, словно здесь прошел снег. Наконец нам удалось его победить, и мы поселили его вместе с супругой в пустующем курятнике, где они, я надеюсь, приживутся.

Элизе удалось запереть в огромную клетку всех наших голубей, за исключением Химеры, которую мы не смогли достать посреди ночи с крыши пристройки, на которой она спала.

Розовый голубь улетел, но иногда возвращается. Элиза держит его подругу в плену, надеясь, что любовь к ней окажется сильнее, чем стремление к свободе. Посмотрим.

Я всегда хожу к одному и тому же парикмахеру, страстному любителю животных. Как только я сажусь в кресло и он укрывает меня простыней, начинаются расспросы о моем коте, собаке и голубях. О родных – никогда.

В этот раз я признался, что голубей расплодилось слишком много и мне пришлось от нескольких избавиться – путем селекции я отбраковал худших.

Потом мы заговорили о чем-то другом.

Когда я уже собирался уходить, он расположил передо мной зеркало так, чтобы я смог увидеть свой затылок и оценить работу мастера, превосходную, как всегда; и вдруг произнес фразу, которая заставила меня оцепенеть – сначала мне даже показалось, что я не расслышал его слов, и я попросил их повторить:

– Ну что ж, месье, теперь, когда вы так прекрасны, можете идти и убивать дальше.

Сегодня утром я задушил еще одного голубя – поистине мы разрушаем то, что любим; порой я чувствовал себя так, словно вынужден был обеими руками задушить собственное сердце. Я начал день с преступления; свою жертву я захватил врасплох и, прежде чем свернуть ей шею, выставил обе руки через порог, за дверь, словно отделив их от себя на то время, что они совершали казнь, – к которой я столь жалким образом тщетно пытался отрицать свою причастность.

Затем я спрятал трупик под пальто и, пройдя через сад, где родители и все собратья

убитого взлетали на живую изгородь при моем приближении, положил его под дверь комнаты Элизы, еще спящей, вместе с письмом от ее матери.

Так поступают богини с подношениями смертных – смотрят на них свысока, переворачивая мыском босой ступни.

36 Хотя за последнее время моя рука несколько раз безжалостно обрушивалась на их собратьев, которых они потом никогда больше не видели, моя пара белых голубей – и только они, возможно, потому, что являются патриархами стаи, – по-прежнему меня не опасаются. Они безбоязненно позволяют мне себя гладить, словно убеждены, что обладают надежной защитой.

Все остальные проявляют недоверие, вполне оправданное, учитывая мои намерения.

Увы! все они обречены.

Верховная власть в лице Элизы произнесла приговор. Я лишь исполнитель ее воли, палач.

Это жестокая история.

Воспользовавшись тем, что мы удочерили Селину, Элиза потребовала, чтобы я уничтожил всех голубей, поскольку они могли стать разносчиками какой-нибудь заразы.

Я не смог уберечь никого, кроме своей маленькой Вероники, потому что она больше других казалась мне личностью. Она была единственной, кому я дал христианское имя,

которое одновременно носила и моя лучшая подруга, – в моих глазах эта голубка напоминала ее и почти что ее воплощала. Хохолок, венчавший ее голову неким подобием остроконечной средневековой шляпы, и огромные глаза довершали это сходство.

Но вскоре я спросил себя, не было ли даже большей жестокостью оставить ее жить в полном одиночестве, единственную из всей стаи.

После массового побоища она наблюдала за мной лишь издалека и с явным ужасом. Ее печаль делала ее похожей на ночную птицу, отчего я, в свою очередь, испытывал некоторый страх. В ее облике теперь было что-то от Кассандры, и казалось, что она только и делает, что неустанно меня проклинает.

Поскольку, думал я, она была девственницей и твердо решила таковой остаться, единственной ее радостью, очевидно, было общество братьев и сестер, которого я ее лишил.

Этот траур длился чуть больше трех месяцев, пока однажды я не заметил, что она больше не одна.

Ее повсюду сопровождал красивый светлый дикий голубь, неизвестно где ею встреченный. О, сколь странны порой веления нашего сердца для других! Я чувствовал даже что-то вроде разочарования. Ну вот, говорил я себе, и она тоже. Постепенно она осмелела, и, казалось, простила мне случившееся – как если бы, избавив ее от родственников, я освободил ее для любви. В общении со мной она

вернулась к былым вольностям, порой даже чрезмерным – например, усаживаясь на мой сундучок с табаком.

Еще через два месяца их стало четверо. Но с прошлого воскресенья малыши прилетают ко мне одни.

Что же случилось?

38 Я почти уверен, что, пересекая внутренний двор Лувра, встретил Веронику. Ее остроконечный хохолок не позволил бы спутать ее ни с кем другим. Но она меня не узнала – вероятно, потому, что считала мое появление где-то вне стен моего дома и сада невозможным. Напрасно я пытался заговорить с ней, делая ей знаки. Кто знает, может быть, она вообще не воспринимала меня уникальным существом среди себе подобных, как я воспринимал ее?

Я не могу жить без животных. Элиза вынудила меня отказаться от голубей. Скоро она запретит мне и котов.

Наша подруга Дениза говорит: «Ну, как там ваши химеры? У Элизы есть свои любимцы среди них, как у вас – свои, и вы оба прилагаете столько сил, чтобы их напитать!»

СТАРОСТЬ ДУДУ

Я в тоске. Мои питомцы подвергаются гонениям. Вначале моих голубей обвинили во всех грехах, чтобы заставить меня избавиться от них. Они чересчур плодовиты, они сбивают черепицу с крыш, они гадят на соседские веранды, они разносят заразу. Что еще я забыл?

И вот теперь Дуду, который к старости приобрел множество огорчительных привычек, больше не имеет права ночевать в доме. Как тут не вспомнить, что юные забойщики скота из Герета, которые подарили мне его больше десяти лет назад, еще котенком, взяли с меня обещание никогда не выпускать его из дома на ночь. Поскольку он пачкает ковры, несмотря на все защитные меры, которые я принимаю, и выговоры, которые я ему устраиваю, Элиза каждый вечер выставляет его за дверь.

Ивонна, которая раньше его любила, теперь тоже отказала ему от дома. Если я позволю, чтобы его отлучили и от меня, он будет чувствовать себя оставленным Землей и Небом. Какая скорбь для его старого сердца, после того как я баловал его все эти годы!

Ах, что мне все ковры на свете по сравнению с его горем! Он был рожден в Герете, как и я, он знал мою мать – неужели я смогу остаться равнодушным при виде его отчаяния? О том, какое место он занимал в моей жизни, можно судить по тому, что однажды я в порыве откровенности сказал месье Шаве, сам удивившись серьезности своих слов:

– Когда Дуду умрет, я останусь один на свете.

Я вспоминаю нашу любовь. Он всегда засыпал у меня в ногах, но когда я протягивал руку, чтобы убедиться в его присутствии, он считал это позволением перебраться к моей голове. Проснувшись утром, я чувствовал, как его мордочка утыкается мне в щеку.

Я нашел страницу с записью, которую сделал когда-то о нем: «Если бы у меня был ангел, который не умел разговаривать, но встречал бы меня всякий раз, когда я возвращаюсь домой, который всегда смотрел бы на меня своими прекрасными глазами с таким восхищением, словно я сам Господь Бог, который ежечасно склонялся бы над моим плечом, чтобы напомнить о своем существовании, или норовил бы запрыгнуть ко мне на колени, – я бы не был растроган этим больше, чем постоянным присутствием моего Дуду».

Поскольку сейчас лето, я думаю, что он не слишком несчастен, ночуя под открытым небом. Он

соорудил себе гнездо на дереве, по примеру Фифио, петуха, который обитал там раньше и, сидя на ветке, каждое утро ждал того момента, когда я зажгу на кухне свет. Едва лишь я спущусь, чтобы сварить себе кофе, Дуду появляется в окне и скребет когтями по стеклу – такова его манера стучаться. Я оборачиваюсь и вижу его черную физиономию, чем-то напоминающую лицо упрямого негритенка. И вот оно, счастье! Мы снова встретились! Я разговариваю с ним. Он мяукает в ответ. Потом я мяукаю, а он, кажется, вот-вот заговорит. Я глажу его. Затем кормлю.

Сегодня утром я приболел. Он вошел в мою комнату, крадучись, и скользнул к кровати, с которой свешивалась моя рука. И вот я внезапно ощутил прикосновение шершавого язычка к ладони. Ни один из нежданных поцелуев, которых я удостоился в жизни, не смог бы растрогать меня сильнее.

Любопытно, как изменилось его поведение со мной, с тех пор как он подвергается гонениям. Мне кажется, он догадывается, что я страдаю, быть может, еще больше, чем он, и это еще усиливает его предупредительность по отношению ко мне – он словно хочет меня утешить за то зло, что причинили ему самому.

Стоит лишь мне сунуть руку под одеяло, как он вскакивает на подушку и касается моего

лба своим чуть влажным носом, а затем исполняет у меня на животе необычный танец, поднимая лапы одну за другой в такт мелодичному мурлыканью.

Как бы ни старались выгнать его отовсюду, ему всегда удается проскользнуть в полуоткрытое окно или приотворенную дверь, и при этом

он держится столь скрытно, что я часто даже не замечаю его присутствия, пока он не фыркнет или не чихнет.

Дуду! какое терпение, какое смирение, какая безграничная кротость! Что бы ни делала Элиза, он не сердится на нее. Вчера, в воскресенье, у меня не нашлось ни молока, ни мяса, чтобы ему предложить. Но ему оказалось достаточно моих ласк – они, без сомнения, дали ему понять, что мое сердце не имеет ничего общего с бескормицей, на которую его обрекли.

Впрочем, в тот же вечер я решил пойти в ресторан, где мне позволили забрать кое-что с собой для него.

Ивонна, которая во времена молодости Дуду очень любила его и соперничала со мной за его благосклонность, теперь, как я уже говорил, больше не желает его знать и – верх цинизма – беззастенчиво проходит мимо него, держа на руках котенка с печальными глазами.

Однажды я проходил мимо ее двери. Ивонна разговаривала с Элизой. Дуду, который следовал за мной, взглянул на своего соперника, сидевшего на руках своей бывшей поклонницы, с некоторой долей ревности.

– У вас нет совести, – посмела заявить мне Ивонна, – раз вы позволяете, чтобы бедный Дуду ночевал на улице. Я слышала, как он мяукал у вас под окнами, а вы его не впустили!

Поскольку она уж точно должна была знать лучше, чем кто другой, что это запрет Элизы, который я не могу нарушить, и что Элиза обращается с Дуду весьма бесцеремонно, гораздо хуже меня, я приблизился и сказал:

– Я никогда раньше не видел морское чудище, Ивонна. Но вот прямо сейчас я на него смотрю, и я от него в ужасе.

– Вы знаете, Ивонна, – добавила Элиза, – всё, что Марсель говорит, он не только говорит – он это еще и думает.

В это самое время, словно сознавая, что я за него отомстил, Дуду прижался к моим ногам, выгнув спину.

Настоящим чудом стало то, что эта сцена позволила мне добиться от Элизы разрешения для Дуду ночевать на кухне.

Как только я располагаюсь за своим письменным столом, чтобы поработать, Дуду взбирается мне на спину и буквально распластывается по ней всем своим небольшим гибким телом,

возможно, сожалея, что не может окутать меня полностью.

С наступлением зимы я каждое утро, еще не разведя огонь, кладу себе на колени грелку, обернутую в шаль, чтобы Дуду мог улечься на нее, не рискуя обжечься. Так он разделяет со мной тепло, и мы оба счастливы. Он постоянно следит за скользящим по бумаге кончиком моего пера, как если бы умел читать.

Скорее всего, чтобы насолить Ивонне, Элиза всё охотнее впускает Дуду в дом.

Сегодня утром он, вероятно, едва мог поверить, что это происходит не во сне – мадам завтракала в постели, а я сидел возле нее, и вот он беспрепятственно вошел в спальню и сел у моих ног. Он смотрел на нее так пристально, что в конце концов она не выдержала и воскликнула:

– Право же, он меня смущает!

Дуду, словно поняв ее слова, расхрабрился от этой неожиданной победы и вспрыгнул ко мне на колени. Нежно сжав его лапки в ладонях, я взглянул на его мордочку, повернувшуюся ко мне. В его глазах читалась такая признательность, что можно было подумать – он на грани слёз.

Часто, когда я сразу узнаю его издалека среди всех прочих черных котов нашего квартала, я спрашиваю себя – по какому признаку?

И, хотя я могу сколько угодно изумляться особенностям выражения «лиц» или строения тел этих маленьких существ, столь похожих и столь разных, я вынужден признать неоспоримую очевидность: он узнает меня еще раньше, чем я успеваю сказать себе: «Это он!»

После всех наших обоюдных нежностей Дуду время от времени подходит ко мне и подолгу пристально разглядывает меня вблизи, словно задаваясь вопросом, кто я.

Но в сущности этот вопрос выше и его, и моего понимания. Конечно, он знает, что я его хозяин, но я проявляю к нему слишком много нежности, и это приводит его в замешательство, даже в беспокойство. Он теряется, и от этого я тоже чувствую себя растерянным. Ему нужно определиться. Он как будто спрашивает себя, не люблю ли я его еще больше, чем ему кажется, – как будто он боится обидеть меня излишним недоверием, боится не признать меня в полной мере своим другом.

Не обманываюсь ли я по поводу этих размышлений и душевных терзаний? Кажется, даже человек не старался бы до такой степени сделать всё от него зависящее, чтобы не выглядеть неблагодарным.

Каждый раз, когда мне приходится его потревожить, я без всякого самопринуждения и всякой напыщенности прошу у него прощения – и чувствую, что никто другой не смог бы

лучше оценить такое проявление внимания и вежливости.

Вот так из-за моей настойчивости он без малейшего скандала вновь обрел все былые права и прерогативы.

Я никогда ничего ему не запрещаю и предоставляю полную свободу действий с тех пор, как он взял на себя обязательство не посягать на чистоту в доме, так что теперь его обращение со мной слегка напоминает обращение с неодушевленным предметом, который находится в полной его власти, но в то же время заслуживает некоторого почтения уже в силу того, что это именно его вещь, его собственность. Я никогда не веду себя как господин, отчего он и не считает меня таковым. Скорее он сам держится со мной по-хозяйски.

Когда ему захочется в очередной раз предъявить свои права на меня, он, не спрашивая позволения, взбирается на меня и располагается со всей непринужденностью.

Да, непринужденно, без разрешения – но всегда тактично. По ночам, когда пламя в камине угасает, и мой кабинет, стены которого почти сплошь стеклянные, быстро становится ледяным, Дуду забирается ко мне под одеяло в поисках тепла. Естественным образом его целью становится мой живот, лоно. Вцепившись когтями в простыню, он делает резкие движения головой, словно бодаясь, чтобы легче пробраться в укрытие и отвоевать себе доста-

точно места. Наконец, когда его нос оказывается на уровне моего пупка, Дуду вытягивает передние лапы и укладывает их мне на грудь, а иногда простирает до самых плеч, обнимает меня и засыпает. Его не слышно и не видно; я тоже стараюсь не шевелиться, повинуясь его маневрам, которые меня восхищают.

Каждое утро он с неизменным удивлением наблюдает за тем, как я оставляю на бумаге бесконечные мелкие черные значки.

Легкий скрип пера звучит для него как музыка. Фисгармония ему тоже отчасти нравится, но радио он не выносит.

Раньше, когда я, держа его на коленях, зажигал свою трубку, Дуду удирал со всех ног, очевидно, принимая ее за какую-то адскую машину. Но с тех пор, как он убедился, что трубка – это практически часть меня, он больше не беспокоится из-за такой мелочи. Будучи уверен, что я прослежу за тем, чтобы не уронить уголек на его или свою собственную шкуру, он не волнуется из-за грозы, бушующей над его головой в серых тучах, за причудливыми завитками которых он завороженно наблюдает.

Когда он возвращается домой позже обычного, то старается проникнуть внутрь тайком, чтобы сделать вид, будто он здесь уже давно, – однако эта скрытность порождена в большей степени деликатностью, чем притворством. Даже если он чувствует себя немного вино-

ватым, то в его манере поведения нет никакой приниженности. Скорее уж нас можно обвинить в лицемерии, символом которого мы клеветнически, без всяких оснований сделали кошку вместо человека.

Поскольку я вот уже неделю страдаю от бессонницы, вчера я решил, чтобы не умножать поводов для нее, не впускать к себе Дуду на ночь. Но ближе к полуночи он каким-то образом ухитрился выбраться из ванной комнаты, в которой я его запер, – и вот я услышал, как он мяучит под закрытой дверью моего кабинета. Я прикрикнул на него. Он удвоил свои жалобы и изо всех сил начал сокрушать преграду, отделявшую его от меня. Я снова закричал на него и прогнал. Он, казалось, смирился, но примерно через час вернулся снова, как если бы это было сильнее него – он не мог противиться желанию попытать счастья еще раз, в надежде, что я смягчусь. Чувствуя, что мне все равно не удастся сегодня заснуть, я уступил.

Тогда, вместо того чтобы свернуться в клубок на подушке возле моей головы, как обычно, – он вытянулся вдоль моих ног, передними лапами обхватив мои колени, словно благочестивый паломник – колонны храма или алтаря.

ДРОЗД

Очень интересно наблюдать за развитием животного с его самых первых дней. Я говорю о дрозде, которого мы вырастили, – Селина подобрала его, еще неоперившегося, когда он выпал из гнезда возле нашей двери. Мне очень долго казалось, что, так неудачно войдя в эту жизнь, он никогда не будет нормальным. Год с лишним он оставался без перьев – и вдруг в середине лета, на втором году жизни, быстро пошел на поправку. Теперь у него красивое густое оперение с особой отметиной – одно белое перо на хвосте. Его большие круглые глаза, похожие на черные бусины, окружены золотистыми ободками и задорно блестят. Его пение, которое прежде напоминало бесконечные жалобы, стало звонким и заливистым. Может быть, соседское радио его вдохновляет? Как и у него, у нашего дрозда очень широкий диапазон, и мелодии, которые он исполняет, отличаются невероятным разнообразием – в них звучат то нежные, то шаловливые, то насмешливые, то резкие и суровые ноты. Что примечательно, так это развитие его композиций или, точнее, импровизаций.

Иногда он поначалу как бы распевается, исполняя вокализы, а затем его фантазия порхает вокруг основной мелодии, элементы которой повторяются каждые четверть часа, как лейтмотив. У этой мелодии романтический настрой, но она никогда не бывает одной и той же – исполнитель не повторяется; в нее вплетаются неожиданные длинные форшлаги, и завершается она долгой меланхоличной нотой или россыпью ироничных восьмых долей, похожих на переливы смеха.

Если всё то, что слышится в его голосе, отвечает истинным чувствам певца, как тут не застыть в изумлении перед этим маленьким существом, чье сердце подвержено приступам столь безнадежной меланхолии и столь бурного ликования.

Сколько раз я порывался освободить его, открыть его клетку – мне казалось, что взаперти он несчастен. Теперь я радуюсь, что этого не сделал. Он не знал другого образа жизни, кроме того, что вел, да я и сам уже не мог представить себе наш дом без него, без его ежедневных рулад.

Можно без конца задаваться вопросом, что происходит в голове и в сердце насекомого.

Нашего дрозда, судя по его пению, поочередно обуревали столь возвышенные чувства, как нежность, меланхолия, гнев, сарказм, ирония, – отчего у меня порой создавалось впе-

чатление, что передо мной разумное существо, личность, к которой я чувствовал невольное почтение.

ФИГАРО

52 Консьержка говорит мне:

– Даже не знаю, что такое вы сделали со своим Фигаро. Он больше не хочет общаться с другими кошками.

– Думаю, что я отвратил его от его собратьев, так же как он меня – от моих.

Ах! конечно, Фигаро – это не Дуду, но всё же он – Фигаро, а это не так уж и плохо! Он гурман, ему свойственна чувственность, он ласков вплоть до назойливости, он льстив, он каждый раз трется о ваши ноги, проходя мимо, не говоря уже о том, что всячески старается до вас дотронуться, так или иначе. Его дружелюбие не знает границ, порой переходя в навязчивость.

Он гораздо более послушен, чем Дуду, и более услужлив. Когда мы завтракаем в саду, и окрестные птицы или мои голуби слетаются к нам в поисках крошек, Фигаро сразу же отходит, повинуясь моему приказу, чтобы их не пугать, и возвращается позже лишь затем, чтобы получить свою долю.

Какая-то чужая кошка повадилась в наш сад. Фигаро, хотя и был расположен к ней, де-

лал вид, что не замечает ее, когда я ее выгонял. Через какое-то время он стал уходить, как только она появлялась.

Только для меня Фигаро стал по-настоящему своим – доверенным лицом, кем-то вроде клошара-осведомителя. Он ложится спать на коврике за дверью, как пария, и если я приглашаю его войти внутрь, он всегда проделывает это неловко и скованно, словно считая себя недостойным такой милости.

Его деликатность неоспорима. Каждый раз, когда я прохожу по аллее сада, а он дремлет где-нибудь в тени, я слышу его голосок, приветствующий меня. Он словно говорит: «Я здесь!» – и в его голосе звучит страстная привязанность, почти влюбленность – или я ее воображаю, потому что и в самом деле хотел бы ее слышать.

Вот уже несколько дней Элиза. которая хочет завести газель, всячески пытается задобрить меня, протестующего против этого разорительного во всех смыслах плана, – так, она разрешила Фигаро доступ на кухню.

К этой перемене распорядка, причина которой ему неизвестна, он отнесся с некоторым недоверием. Вчера вечером он все же позволил себя убедить, и его манера поведения говорила красноречивее всяких слов: «Ну что ж, может быть, мне и впрямь желают только добра». Во время ужина он сидел под столом, прижимаясь к моим ногам, а не наблюдал за нами

через оконное стекло, как раньше. Из просителя он превратился в гостя.

Когда я спустился в кухню сегодня утром, он уже почти полностью там освоился. У него есть забавная особенность – его маленький розовый язычок всегда чуть-чуть высунут, что хорошо заметно на фоне черной шерсти, и придает ему вид уличного сорванца или гурмана, в зависимости от того, насколько выдается вперед.

Еще у него необычная манера сидеть у вас на коленях, которую я замечал только у него. Вместо того чтобы повернуться к вам спиной или боком, как большинство его собратьев, он поворачивается к вам мордочкой и запрокидывает голову, чтобы смотреть вам прямо в лицо с пылким нетерпением, словно ожидая слова или взгляда, которые подкрепили бы его уверенность в том, что вы его любите.

Фигаро и Лоретта оспаривают друг у друга мои милости. Если я глажу одного, другая требует того же. Если один протягивает мне лапку, то же делает и другая. Когда я вытягиваюсь на кровати во время сиесты, оба присоединяются ко мне, но как только Фигаро, с непринужденностью домашнего кота, вздумает уткнуться носом в бок Лоретты, она, памятуя о своем благородном происхождении, отодвигается и смотрит на него свысока, словно оскорбленная такой фамильярностью. При этом она, судя по всему, признает за мной

право проявлять снисхождение к подобным ему существам.

Когда я сажусь в кресло, они соревнуются, кто быстрее прыгнет мне на колени. Если это оказывается Фигаро, Лоретта довольствуется тем, что укладывается на пол у моих ног. Если Лоретта, то Фигаро без всяких колебаний прыгает ей на спину – и вот у меня на коленях мой зверинец в полном составе.

Вчера вечером я гулял с Лореттой и Фигаро в тупике Малакофф.

Удивительно, что кот, из ревности к сопернице, решился так далеко уйти от дома, к которому привык. Но Фигаро готов был отправиться на край света, только бы не оставить нас с Лореттой наедине. Я даже не мог взять его на руки – Лоретта бдительно следила за тем, чтобы он не смог подойти ко мне достаточно близко, и постоянно отгоняла его.

Страх перед Элизой, несомненно, сильнее его и сильнее меня – именно по этой причине я так и не смог добиться, чтобы он входил в наш дом свободно, а не крадучись, как вор.

Вчера он умер – я уверен, с ощущением того, что нигде в этом мире он не был дома, разве что в моем сердце.

ЛОРЕТТА

56 ***О злоключениях Лоретты, которую прежде звали Прауни***

Некий американец, сотрудник посольства, в одно прекрасное утро попросту забыл ее в такси. Ей было меньше года. Наш друг Ив де Безе подобрал ее, но, поскольку не мог поселить у себя, передал нам.

Через неделю, когда она более-менее обжилась у нас, позвонил ее хозяин, который громогласно предъявил на нее свои права и без промедления явился забрать ее, с охапкой цветов в руках.

Прощаясь с нами, очевидно, растроганный нашей привязанностью к этому очаровательному существу, он сказал:

– Скоро вы получите известия о ней, и, я уверен, они вас порадуют.

И в самом деле, по истечении двух недель выяснилось, что в связи с перемещением по службе дипломату предстоит переехать из Парижа в Лондон. Не желая подвергать Прауни, слишком чувствительную, перипетиям сорокадневного карантина по приезде в Анг-

лию, он предложил вернуть ее нам, если мы захотим.

Ее снова привезли к нам. Родословная у нее была королевская, императорская.

Поначалу Прауни была грустной, но как бы из приличия. Казалось, она чувствует разницу между той средой, которую она оставила, и нашей – причем последняя ей нравится больше.

К величайшей нашей досаде, у нее в изобилии обнаружились блохи и глисты. О причине этого Элиза и ветеринар быстро догадались.

Без сомнения, ее первый хозяин, молодой холостяк, поручил заботу о ней не слишком усердным слугам.

Какое-то время она колебалась между Элизой и мной. Элиза взяла на себя уход за ней, я обеспечивал кормежку.

Где она будет спать? Элиза предполагала, что у нее. Но вчера вечером, готовясь ко сну, я услышал легкий цокот – словно кто-то шел по паркету на тонких каблучках.

Это была Прауни, которая решила увидеть мою обитель *de visu**, а заодно пожелать мне спокойной ночи и, возможно, выразить сожаление в том, что она не может спать с Элизой и со мной одновременно, или проводить со мной больше времени, чем с Элизой, – поскольку к тому времени было уже очевидно, что ее сердце сделало выбор в мою пользу.

---

* Воочию (*лат.*).

Она осторожно вспрыгнула на кровать, коснулась носом моего лица, затем развернулась и удалилась, явно довольная тем, что смогла исполнить веление своего сердца, не нарушив при этом долга, – как я догадывался, она давно лелеяла этот замысел.

На следующий день Элиза окрестила ее Лореттой.

Почему Лореттой? Мы оба были противниками всевозможной экзотики. Имя «Прауни» звучало чужеродно, в нем было что-то раздражающее для любого, не одержимого англоманией. «Лоретта» – имя гораздо более привычное, домашнее, к тому же отвечающее пристрастиям Элизы к элегантности и галантному обхождению.

Забавно, однако, было то, что это имя оказалось совершенно неподходящим для нашей маленькой питомицы, которой предстояло остаться девственной, – мы никогда ее не вязали, и она ничуть от этого не страдала. Мы даже ни разу не замечали у нее течки, словно она была бесполой.

В этом проявлялось еще одно ее расхождение с Элизой, которая, будучи в свое время дамой полусвета, никогда не питала склонности к чувственным удовольствиям, всегда была нетерпима к пороку и всячески пыталась склонить всех животных, которые когда-либо жили под ее кровом, отказаться от велений природы. Ни Лоретта, ни Красотка, наша кошка, так и не познали материнства – Элиза

их ревностно от этого оберегала. Боюсь, если наша приемная дочь Селина поддастся ее влиянию, она тоже будет обречена остаться старой девой или, по крайней мере, незамужней.

Сегодня утром у Лоретты не было аппетита, но поскольку я настаивал, она подошла к своей миске с едой, понюхала ее, а затем, отвернувшись, бросила на меня взгляд, в котором ясно читались желание повиноваться и невозможность это сделать.

Конечно, я тут же бросился утешать несчастное ранимое создание.

Самое ужасное в наших семейных сценах – то, что они разыгрываются на глазах наших животных. О, этот взгляд Лоретты, обращенный ко мне, когда Элизе случается повысить голос! Если я ухожу, чтобы положить конец ее воплям, тревога, в которой я оставляю сердце моей собаки, заставляет меня вернуться на пару часов раньше, чем я намеревался.

Поскольку у прежнего хозяина Лоретты был автомобиль – да еще какой! – даже теперь, хотя вот уже полгода она живет у нас, стоит ей увидеть проезжающий мимо «Кадиллак», она приходит в смятение и изо всех сил тянет поводок, устремляясь к кромке тротуара, где замирает неподвижно и ждет – как если бы чувствовала уверенность, что сидящий внутри человек ее любит и сейчас выйдет к ней, чтобы погладить и приласкать.

Но нет. Тогда ее взгляд становится печальным, и я буквально слышу, что она думает:

– Всё кончено. Он больше не желает меня знать.

К счастью, стоит лишь ей повернуть голову, она видит меня, наблюдающего за ней, и я читаю в ее глазах:

– Но у меня есть ты, который заменил мне
60 и его, и всё на свете.

Как заставить ее забыть прошлое?

Встретившись с собакой из тех, что ей не нравятся (она терпеть не может бассет-хаундов и фокстерьеров), Лоретта, когда они приближаются, чтобы обнюхать ее сзади, сначала выглядит смущенной, потом разгневанной и, наконец, разъяренной, и торопливо удаляется, поджав хвост, с видом порядочной женщины, серьезной и куда-то спешащей.

Если же это волкодав иди датский дог, великолепные и романтичные, она с удовольствием обнюхивается с ними, после чего тотчас же отбегает к ближайшему дереву и мочится на него, как это обычно делают кобели. Это всё, чего им удается от нее добиться.

Лоретта отлично знает, что нельзя облегчаться на тротуарах. Если она нарушает этот запрет в случае неотложной нужды, воспользовавшись моей рассеянностью, то в следующий момент я чувствую, как натянулся в моей руке поводок – она спешит уйти подальше, чтобы избежать разоблачения.

Никто никогда не смотрел на меня так, как она. Лоретта может часами сидеть у моих ног, не отрывая от меня своих прекрасных золотистых глаз и даже ни разу не моргнув.

Порой кажется, что они застилаются слезами нежности, порой в них мелькает нечто, похожее на вспышку страсти.

Можно ли объяснить одной лишь признательностью эту пылкую преданность, это неотрывное созерцание, которое заканчивается лишь когда я гашу свет и мы засыпаем вместе, бок о бок? Лоретта сначала лежит на покрывале, специально постеленном для нее в изножье моей кровати, а потом залезает ко мне под одеяло. Когда я прекращаю читать, я тут же чувствую, как она постепенно продвигается ко мне сквозь разделяющие нас преграды, как бы изучая мое тело, чтобы лучше приспособиться к нему.

Когда мы вместе поднимаемся по лестнице, Лоретта всегда идет впереди, без особой спешки, и на каждой ступеньке оборачивается ко мне и тычется носом мне в руку, если я протягиваю ее вперед.

Лоретта целомудренна. Если я раздеваюсь догола в ее присутствии, она опускает глаза, а если я голым растягиваюсь на кровати, где она лежит, она тут же спрыгивает и отходит, не оборачиваясь.

По поводу ее недостаточной чувственности и полного отсутствия каких-либо чисто сек-

суальных побуждений я поговорил с доктором *М.,* и он заверил меня, что это не редкость для сук карликовых пуделей – они не слишком охотно совокупляются, словно инстинктивно чувствуют, что роды для них будут нелегкими, как оно часто и происходит.

Проявляя изысканную вежливость (возможно,
62 причиной тому отголоски каких-то старинных правил этикета, унаследованных от предков), Лоретта всякий раз, когда я возвращаюсь домой после долгого отсутствия, начинает расхаживать вокруг меня, как на параде, с гордым видом и высоко поднятой головой, сжимая в зубах тряпку или какой-то другой предмет и негромко рыча сквозь зубы. Так продолжается всё то время, что я остаюсь на месте, созерцая это необыкновенное зрелище.

Чем бы это ни было вызвано – осторожностью при виде дымящейся миски, сдержанностью или деликатностью, не позволяющей сразу наброситься на еду, – Лоретта никогда не начинает есть сразу: она приближается к миске, затем отходит, снова приближается и снова отходит, словно исполняя приветственный обряд. В конце концов мне пришлось признать, что в этой игре нет никакого практического значения – это нечто вроде восточных церемоний, которые неукоснительно соблюдаются и в том случае, если суп уже остыл. При виде этих «повержений ниц» нельзя не вспомнить

молящихся арабов – те же ритуалы, передающиеся из поколения в поколение, в том виде, как их заповедовали предки, но внушающие в данном случае тем большее почтение, что меньше всего можно было бы ожидать чего-то похожего на исполнение религиозного обряда от животного.

Мы прогуливались по дороге, ведущей из Бюсе в Галанд, как вдруг Лоретта принялась кататься на спине и тереться затылком о землю, словно осел, попавший на овсяное поле.

Когда я приблизился, она отбежала, и я увидел скелет какого-то небольшого животного – кролика или кошки. По этим останкам она и перекатывалась.

Недалеко от нас копался у себя в огороде старик-крестьянин, и я рассказал ему о случившемся.

– О, месье, – ответил он, – такое только для вас в диковину, а мы здесь, в деревне, этого насмотрелись. Сколько раз я видал, как собаки валяются таким манером, когда дохлую птицу найдут или крота. Может, обычай у них такой – либо чужую смерть почтить, либо свою от себя отвадить.

Конечно, мы никогда не узнаем многого об этих созданиях, чья внутренняя жизнь остается для нас непостижимой. Кажется, что для них нет ничего важнее на свете, чем смотреть изо дня в день, как мы живем, словно они

втайне наблюдают за нами – и кто поручится, что они не судят нас, если порой становится столь очевидным, что они нами восхищаются, или, в иных случаях, – нас осуждают?

Нет ничего поучительнее, чем увидеть, как животные приходят в смятение при виде разгневанного человека. Скандализировать животное – мыслимо ли это? Может быть, это наш единственный шанс научиться вести себя сдержаннее. Не старался ли я всегда инстинктивно вести себя так, чтобы оказаться достойным уважения моей собаки в еще большей мере, чем ее любви.

Животные подчиняются правилам, которые, судя по всему, произрастают из опыта, из физиологических причин. Например, Лоретта никогда не выходит из дома – я имею в виду, на прогулку, – предварительно не напившись вдоволь молока. Стоит ей увидеть в моей руке поводок, она тут же устремляется к миске.

Эти обильные возлияния не имеют ничего общего с жаждой, но в них есть своя логика. Собака инстинктивно догадывается (не решаюсь сказать «думает»), что избыток питья активирует ее жизненные функции, ускорит течение жидкостей в организме, и, следовательно, – естественные отправления, которые ей тем легче будет затем совершить по дороге.

Интересно было бы знать, сколько приобретенного знания в этих маневрах. Явля-

ются ли они результатом какого-то атавизма или же личного опыта?

Каждый индивид следует побуждениям, которые продиктованы тем либо другим. Когда рядом с тобой постоянно находится разумное животное, начинает казаться, что оно размышляет, что нет ничего полностью спонтанного в тех поступках, которые оно совершает, конечно же, под воздействием некого скрытого импульса. Бесспорно, оно повинуется тайным велениям природы, но при этом отчасти пребывает в добровольном согласии с ней.

Порой Лоретта кажется мне личностью, которая только притворяется собакой и отказалась от использования слов из одной лишь сдержанности, некой высшей элегантности.

Животные гораздо лучше нас умеют держаться, как подобает, при почти любых обстоятельствах – например, в присутствии покойника. Еще удивительнее их поведение с теми, кто плачет, – я охотно признаю, что оно намного предпочтительнее нашего по части искренности с одной стороны и сдержанности – с другой.

Я наблюдал за Лореттой среди людей, собравшихся вокруг смертного ложа месье Апремона на погребальное бдение. Сколько достоинства было в ее поведении, в ее молчании! Если Элиза порой начинала плакать, Лоретта тут же приближалась к ней и, с нежностью заглядывая в лицо, слизывала слезы со щек, а потом обхватывала ее руки своими лапка-

ми. Не зная ужасающего слова «соболезнования», она вела себя в точности так, как предписывал его смысл.

Но, возможно, еще интереснее наблюдать за животными, когда они видят, как мы смеемся. Именно в смехе есть нечто такое, что превосходит их понимание, приводит их в замешательство, устанавливает предел их почти

абсолютной способности сопереживать. У них не получается последовать за нами в эту область забав, куда им путь заказан, и разочарование их настолько очевидно, что я стараюсь избегать в присутствии Лоретты или нашей кошки проявлений веселости, которая кажется им неуместной и сбивает их с толку. Эта человеческая привилегия, даже если и добавляет что-то к основной гамме наших чувств, к диапазону наших душевных состояний, – возвышает ли нас над животными? То, что животным неведома ирония, быть может, напротив, возвышает их над нами. Их серьезность непоколебима, искренность безупречна.

Когда я сажаю Лоретту на колени, она постепенно прижимается ко мне всё теснее, словно любит меня всё больше с каждой минутой – так что я почти ощущаю вес ее нежных чувств, который добавляется к ее собственному. Она и в самом деле становится тяжелее, как будто для того, чтобы надежнее засвидетельствовать мне свою любовь, подчеркнуть свое присутствие.

Над моей жизнью взошли две звезды, которые неугасимо светят для меня – такие маленькие, но такие пылкие и сияющие! Они так внимательно наблюдают за мной, что порой это трогает меня до слез. Могу ли я надеяться, что мне осталось не так уж много до конца моих дней, чтобы не увидеть, как они угаснут раньше меня, – хотя, может статься, для них было бы лучше, если бы они меня не пережили? Без меня – что станется с глазами Лоретты? Они утратят главный объект созерцания, смысл своего бытия.

Почти каждый день я отправляюсь с ней на долгую прогулку. Какое приятное время-препровождение начинается для нас обоих, когда на краю леса я спускаю ее с поводка! Она наслаждается свободой, но в то же время не забывает о добровольном, осознанном послушании, и к тому же боится меня потерять или заблудиться сама – она словно привязана ко мне невидимыми, но нерушимыми узами, которые сохраняются, как бы далеко она ни убежала.

Едва ступив на тротуар улицы Вебер, она оглядывается на меня, ожидая приказа, и когда я делаю соответствующий жест – если поблизости нет машин, – в два прыжка оказывается на противоположной стороне улицы. Там перед ней расстилается уже гораздо более широкое и безопасное пространство, особенно после пересечения улицы Марбо, и она устремляется знакомым маршрутом, гарцуя

и скача, словно исполняя павану, но не забывая время от времени мельком оборачиваться, чтобы убедиться, что я следую за ней. О, как же это едва заметное свидетельство преданности меня трогает! В этих ежеминутных беглых взглядах столько рвения, столько соучастия и ликования, что, по сути, это она ведет меня за собой на поводке. Иногда она возвращается по собственным следам, и во всем ее виде читается немой упрек: «Ну, поторопись же, мой старый господин!» – после чего вновь убегает во весь опор, и так до того места, где я вновь беру ее на поводок, чтобы пересечь улицу адмирала Брюи.

Что меня больше всего забавляет – как она, мчась на полной скорости, вдруг резко виляет задом в сторону, когда ей нужно затормозить.

Часто, когда я гашу свет и Лоретта вытягивается рядом со мной в кровати, сунув нос в мою левую подмышку, между нами завязывается дружеский разговор. Я тихо говорю с ней, и на каждое мое слово она отвечает вздохом или слюнотечением, которое служит у нее признаком легкой тревоги, вызванной избытком эмоций. Каждый говорит на своем языке. Мой состоит из слов, ее – из нажимов или звуков, более или менее точно передающих всё, о чем она хочет сказать.

О, счастье дарить счастье, внушать существу, сколь бы малым и смиренным оно ни бы-

ло, полное доверие! Даже у Бога, скорее всего, нет более высоких устремлений. Порой крещендо ее вздохов, ее трогательное пыхтение заставляют меня непроизвольно склониться над ней и запечатлеть поцелуй на ее лбу. Она воспринимает это всерьез, как повелительница, еще чуть больше вытягивается и разваливается с небрежностью, близкой к величественности, откинув голову и расслабив лапы, часто даже не открывая глаз или походя вознаградив меня беглым взглядом, который сразу же отводит.

Но этого ей недостаточно. Полностью не просыпаясь, она всё же хочет показать мне, что довольна. Поэтому она торжественно возлагает одну из передних лап мне на грудь, словно желая утвердить свое обладание мной и убедить меня в своем покровительстве и защите, – преисполненная сознания собственной важности, которую она себе придала и которую я ей позволил, лишенной, впрочем, какой бы то ни было фамильярности дурного тона и малейших намеков на чувственность, вполне официальной, в рамках формальной вежливости, и в то же время изысканной, проникнутой той скрытой утонченностью, на которую человеческие существа не способны.

Элиза взяла на себя заботу об уходе за Лоретой, и тратит на все необходимые процедуры добрых полдня: ее нужно подстричь, искупать, расчесать, почистить уши и зубы. Маде-

муазель, которую холят и лелеют, как ни одну куртизанку на свете, чувствует себя столь обязанной за все эти труды, что еще пару дней исполняет долг признательности, не отходя от Элизы почти ни на шаг; но поскольку больше любит меня и предпочитает проводить время со мной, старается вести себя так, чтобы никого не обидеть. Она нашла для этого способ, расположившись на верхней ступеньке лестницы, на почти одинаковом расстоянии от Элизы и от меня: ее голова у порога моего кабинета, а хвост направлен к лестничной площадке первого этажа, где начинаются владения Элизы.

Сегодня утром, раздвинув занавески и распахнув ставни в своем кабинете, я встретился взглядом с Лореттой, которая смотрела на меня с восхищением, словно говорила: «Мы пребывали во тьме, но по мановению твоей руки стал свет! Ах, что бы я делала, если бы не ты? Без тебя я бы и шагу ступить не смогла!»

Когда моя собака смотрит, как я хожу туда-сюда, совершая самые разные действия, в то время как ее собственные всегда одни и те же, и набор их ограничен, мне кажется, я замечаю, как в ее взгляде проскальзывает нечто похожее на зависть, смешанную с восхищением, а иногда – на жалость: «Сколько бесполезных движений! – скорее всего, думает она. – Сколько суеты, и ради чего?» Без сомнения, наиболее необъяснима для нее слож-

ность, которую мы привносим в свою жизнь, тогда как ее собственная сводится всего к нескольким предписаниям, четким и простым.

Больше всего она, кажется, впечатлена тем, как я изо дня в день застилаю и разбираю постель. При этом, судя по всему, ее сильнее удивляет ловкость моих рук, чем сама эта привычка, за долгие годы ставшая естественной частью моей жизни. Она издавна присутствует при этой череде ритуалов, всегда неизменно сменяющих друг друга в одном и том же порядке, как в религиозной церемонии. «Ах, – словно говорит она, – как же быстро ты создаешь порядок из хаоса! Ты и в самом деле достоин быть моим господином!» Но ее изумление переходит всякие границы, когда я принимаюсь играть на фисгармонии – и причиной тому не звуки, извлекаемые мною из инструмента, а быстрый танец моих пальцев по клавишам, за которым она наблюдает в полной растерянности.

Сегодня вечером, когда я лег спать, Лоретта запрыгнула в изножье моей кровати, но так и осталась лежать там, повернувшись ко мне боком, с явно недовольным и обиженным видом. С чего вдруг она изменила своей привычке залезать ко мне под одеяло и прижиматься к груди? И почему отворачивается? Явно чтобы меня за что-то наказать. Я долго вспоминал, какую обиду мог ей нанести, и, наконец, догадался. Во время ужина, на котором у нас были гости, она много раз тянула

меня зубами за рукав, но, увлеченный беседой, я не обращал на это внимания. Обычно это был наш с ней условный знак, что ей нужно выйти из дома по естественной надобности. Позже, не выдержав, она облегчилась на лестничной площадке, и я услышал, как ее за это бранили. Она не могла мне простить, что получила эти упреки совершенно незаслуженно.

Наконец, уже среди ночи, мои извинения были приняты, и она простила меня, в знак примирения положив голову мне на бедро. Затем я услышал, как она сглатывает слюну, – очевидно, ей перехватило горло от наплыва эмоций, как если бы она хотела поведать мне о своем счастье, которое было одновременно и моим.

Лоретта следует за мной, как вторая тень, чья неразлучность со мной продиктована безупречной и неподдельной любовью.

Одно из моих развлечений – наблюдать за тенями людей на песке. Часто они принимают форму животных – тех животных, что скрываются в нас. Счастливы те, чья тень похожа на спаниеля или пуделя, и еще больше счастливы их друзья. У меня есть две разные фотографии Клода Мориака*, которые еще больше утвердили меня в этом мнении.

---

* Клод Мориак (1914–1996) – прозаик, сценарист и литературовед. Сын Франсуа Мориака, лауреата Нобелевской премии по литературе.

Кажется, черепахе нравится наше общество. Если мы оставляем ее на террасе второго этажа, а сами спускаемся на первый, то вскоре после этого регулярно обнаруживаем ее на ступеньках лестницы, перевернутой на спину – она всякий раз собирается последовать за нами, но неизменно терпит крах.

Часто Лоретта, которая в таких случаях с ней заодно, берет ее в пасть и переносит с верхнего этажа на нижний. И вот трое наших домашних питомцев – собака, черепаха и кошка – снова вместе. Они почти никогда не расстаются и образуют свое закрытое сообщество. Иногда, собравшись в круг, они словно держат совет, обсуждая, возможно, в том числе и нас.

Близится зима.

Теперь все домочадцы больше не расстаются – я имею в виду Лоретту, Красотку и Софи. Красотка – кошка, Софи – черепаха.

Когда я даю понять, что ухожу, Лоретта склоняется над Софи, хватает ее, и они движутся за мной, а Красотка замыкает шествие. Мы передвигаемся след в след – только Софи имеет в своем распоряжении персональный лифт.

Лоретта по определенным признакам догадывается о моих намерениях.

По вечерам она наблюдает за мной особенно пристально, поскольку больше всего ее интересует тот момент, когда я жестом приглашаю ее запрыгнуть на мою кровать, чтобы вместе заснуть.

Если я читаю газету после ужина, она словно говорит:

– Ну, это ненадолго.

И остается сидеть у моего кресла.

Если же я сажусь за стол, чтобы писать, она говорит себе:

– Ах, теперь он еще не скоро ляжет.

И отправляется в свою домашнюю конуру, где обычно проводит время днем.

Важность имени

Поскольку Лоретту прежде звали Прауни, Элиза, чтобы проверить, помнит ли она об этом, иногда называет ее так. В эти минуты Лоретта как будто просыпается после долгого сна – она встает и начинает оглядываться с беспокойным видом, словно вместе с именем сменила душу, и теперь пытается найти тот мир, который покинула.

Радость Лоретты дорога мне почти так же, как моя, и иногда становится единственным поводом для моей.

Когда я вижу, как она бежит рядом со мной, прыгает, скачет, делает кульбиты – такая юная, резвая, очаровательная, полная жизни, я говорю себе, что она совершенна, а когда она оборачивается ко мне и показывает белые зубы, словно улыбаясь, мое сердце начинает биться быстрее.

Порой в ее облике проскальзывает чисто женская грация – благодаря ее прическе, на-

поминающей шиньон, ее завиткам и ее взгляду, который становится кокетливым, когда она закатывает глаза, или чувствительным, когда она озаряет вас пламенем своих золотистых зрачков.

Месье Педрон сделал очень любопытное наблюдение на ее счет:

– Знаете ли вы, месье Жуандо, что больше всего удивляет меня в вашей Лоретте? – спросил он. – Ее сходство с Сарой Бернар. Сами посмотрите – это же сама воскресшая Сара, собственной персоной – с этими ее глазами в волосах!

«С глазами в волосах!» Именно так, в этом вся Сара Бернар и немножко – Лоретта. Теперь я всякий раз, глядя на одну, вспоминаю о другой, и тот интерес, который Сара Бернар пробуждала во мне раньше, еще усиливается тем, который Лоретта пробуждает сейчас.

Сегодня днем я улегся на пол и растянулся на спине, чтобы расслабиться, сложив руки на груди.

Лоретта быстро улеглась рядом со мной и положила голову мне на руки, словно это была подушка, лежавшая здесь специально для нее. Время от времени она касалась влажным носом моих сплетенных пальцев.

Я едва удерживался от того, чтобы горячо прижать ее к себе. Избыточность в проявлении чувств ей совершенно не нравится. Это

приводит ее в беспокойство. Из нас двоих она в большей степени обладает чувством меры.

Лоретта – идеальное создание. Ее облик и ее душа полностью лишены изъянов. Все смотрят на нее с восхищением, даже незнакомцы. Она идет так, словно танцует.

Лоретта – совершенство, и Лоретта меня любит. К тому же она настолько зависит от меня, что я невольно задаюсь вопросом, сможет ли она меня пережить.

Когда я рядом, она не видит никого кроме меня, а когда я ухожу, она садится у окна и не отрываясь смотрит на садовую калитку, чтобы еще издалека увидеть, как я возвращаюсь.

На прогулке она уделяет должное внимание своим собратьям, но быстро отбегает и возвращается ко мне, взглядом принося мне извинения, словно восклицая:

– К черту удовольствия, я люблю одного тебя!

Все мои друзья и гости имеют право на знаки внимания с ее стороны, но это не более чем вежливость.

Порой, когда она бежит, у меня такое ощущение, что она нарочно, для забавы, на каждом шагу попеременно поджимает то одну переднюю лапу, то одну заднюю, словно исполняя какую-то замысловатую фигуру балета, – а затем возвращается к своей обычной походке.

Однажды в воскресенье ко мне зашел Робер Шатте*, и мы вместе с Лореттой отправились на прогулку в Булонский лес. Шатте был подавлен (он умер два месяца спустя), и я старался развлечь его разговорами, совсем забыв о Лоретте, – я был уверен, что она следует за нами. Затем, спохватившись, я обернулся, поискал ее глазами и не нашел. Лоретта пропала! Я начал ее звать, но тщетно. Куда же она подевалась? Можно вообразить охватившую меня тревогу – Лоретта одна, без меня, что с ней станется?! После недолгих размышлений я пустился в обратный путь. Я продолжал ее звать, всполошив всех прохожих, которые попадались мне навстречу, и те из них, которые недавно видели ее и забеспокоились, что она потерялась, указали мне нужное направление. Наконец я заметил ее, метрах в трехстах впереди, мечущуюся туда-сюда вдоль дороги, по которой в обе стороны сплошным потоком шли автомобили. Еще до того, как она услышала меня, я понял, что она в панике, которая вот-вот может перейти в настоящее безумие. Бедная малышка уже готова была рвануться на проезжую часть, где неминуемо была бы раздавлена, но в этот момент услышала меня. Я был уже близко и смог заметить, как мгновенно изменилось ее выражение лица, перейдя от отчаяния к ликованию. Какая радость была вновь обрести друг друга! «Вы

* Робер Шатте (1901–1957) – поэт, библиофил.

летели как на крыльях, – сказал мне Шатте, когда мы вернулись к нему. – Вас словно несла какая-то сила. Смотрите-ка, вы даже не запыхались!»

На перекрестках, когда Лоретта останавливается, чтобы узнать у меня направление, в котором двигаться дальше, или при встречах с каким-нибудь щенком, когда она спрашивает, можно ли ей с ним поиграть, – она не поворачивает ко мне головы, лишь косится в мою сторону, и делает так постоянно. Я вдруг замечаю, как вместо белка в углу глаза оказывается радужная оболочка – почти возле самого уха, – в центре которой вопросительно поблескивает зрачок. Тогда я невольно улыбаюсь и делаю слабый жест, которому она тут же повинуется, – именно в таких ситуациях она как никогда напоминает послушного, но хитрого негритенка.

Ее кокетство порой меня удивляет – в тех случаях, когда она использует всю силу своей привлекательности, чтобы обольстить кого-нибудь из монстров: волкодава, фоксхаунда или бульдога. Она испытывает почтение лишь к массе – или, говоря возвышенным языком, к величественности. Мелкие шавки не имеют права к ней приближаться. Она смотрит на них издалека, с презрением, даже с ненавистью.

Сколько раз я видел, как ради нее от хозяев убегал какой-нибудь здоровенный сторожевой пес, раза в четыре больше нее, который готов

был потеряться сам, лишь бы ее не потерять, – тогда как Лоретта была озабочена лишь тем, чтобы, заставив его пуститься за ней в погоню и тем самым доказать могущество ее чар, оторваться от него и с торжествующим видом вернуться ко мне.

Разумеется, порой она демонстрирует интерес к определенным местам кого-то из небезразличных ей собратьев, обнюхивая их, – но, как только ее любопытство удовлетворено и все нужные сведения получены, она непринужденно разворачивается и убегает, словно они не представляют для нее особой ценности.

О том, чтобы кому-то покориться, не может быть и речи. Когда кто-то из кавалеров уже грозит обрушиться на нее всей своей тяжестью, она издает отрывистый возмущенный лай, готовая укусить – словно женщина, на минуту решившая уступить домогательствам только для вида, или мифический единорог, дорожащий своей чистотой до такой степени, что готов защищать ее даже ценою жизни.

Если она порой продолжает эту игру, то, фигурально выражаясь, прядет нить желания, вызванного ею в другом, только для того, чтобы почти сразу перерезать ее, показав, что не связана ни с кем, кроме меня.

Мне представляется, что ни одно существо не относится к любви настолько пренебрежительно, как она. Кажется, единственное, что ее интересует при встрече с серьезно настроенным партнером – заставить его танцевать во-

круг нее. Каждый раз, когда она поворачивается, чтобы уклониться, он поворачивается следом за ней, стремясь ее перехватить. Быстрота этих маневров делает их похожими на танец, вплоть до того момента, как, после многочисленных поворотов и шассе-круазе, она обегает своего ошеломленного партнера кругом, как цирковая лошадь на арене, а затем

удирает во весь опор, галопом или рысью. Ее передние и задние лапы вытягиваются почти параллельно земле. Таким аллюром она пробегает пару сотен метров и только потом останавливается, чтобы посмотреть, где ее старый хозяин. Когда я приближаюсь к ней, она делится со мной радостью победы: ее уши развеваются, как крылья летучей мыши, пасть приоткрыта, ослепительно-белые зубы сверкают в подобии улыбки. Должен признаться, в этот момент горделивая посадка ее головы, умное и одновременно лукавое выражение ее глаз вполне заслуживают быть запечатленными на фотографии – они словно призывают меня в свидетели благородной ярости, с которой она защищает то, что, несомненно, почитает за Добродетель.

Таким образом, можно сказать, что Лоретта кокетничает со своими ухажерами лишь для того, чтобы высмеять их и от них сбежать. Но меня немного шокирует, что она, кажется, полагает меня заинтересованным в том, чтобы она сохранила девственность. Она бежит рядом со мной, приноравливая к моим шагам

свою танцующую походку, которая выглядит почти как павана и вызывает восхищение даже у случайных прохожих. И вот так мы оба шествуем, как ни в чем не бывало.

Лоретта без всяких слов превосходно умеет заставить себя услышать. Она никогда не прибегает к одним и тем же маневрам, чтобы сообщить о различных желаниях. Если она хочет пить, то останавливается передо мной и смотрит на меня особенно пылко, притоптывая на месте от нетерпения и учащенно дыша. Испытывая потребность выйти по нужде, она тянет меня зубами за рукав, до тех пор, пока я не удовлетворю ее просьбу. Этот тип языка, сведенный к разным выражениям на ее физиономии и тем или иным жестам, чем-то напоминает язык немых. Его ценность в том, что он столь же точен, сколь и убедителен.

Животные, очевидно, понимают некоторые слова, даже если они используются редко, в тех случаях, когда эти слова касаются их или связаны с какими-то устоявшимися обычаями. Например, стоит только заговорить о процедурах по уходу за Лореттой, как она тут же устремляется в ванную, где ее стригут, и сама запрыгивает на небольшой столик, на котором она сидит, когда ее освобождают от лишних завитков в ее шевелюре.

Ее самым большим удовольствием в течение нескольких лет было спать на покрывале,

которое я специально для нее расстилал в изножье кровати, до тех пор, пока однажды ночью, поворачиваясь во сне, я нечаянно столкнул ее на пол. Теперь она соглашается занять это место лишь пока я читаю, и деликатно удаляется, когда видит, что я собираюсь спать.

Когда она поднимает на меня глаза, и я вижу этот взгляд, взгляд моей собаки, все влюб-

ленные этого мира вызывают у меня лишь улыбку.

Интеллект животных не подлежит сомнению. К концу зимы, когда потеплело, мы отключили в доме отопление, но внезапно холода вернулись, и его пришлось заново включить. Лоретта, которая уже успела заметить, что котел в подвале больше не горит, сегодня утром увидела, что в нем снова мелькает пламя, и удивленно перевела взгляд с него на меня, словно говоря: «Ну вот опять!»

Во взгляде, который порой обращает ко мне Лоретта, есть что-то столь невероятно трогательное, столь глубоко проникающее в область послушания, привязанности, благоговения, что я останавливаюсь, чем бы ни был занят, чтобы впитать в себя всю его нежность, которой, как я чувствую, я не вполне достоин. Возможно ли быть объектом столь полного самоотречения? Такое глубокое почитание застает меня врасплох, и я на мгновение застываю в неподвижности перед этим зрелищем экстаза, который сам же и внушаю.

Ничто не поражает человека во мне больше, чем присутствие в животных добродетелей, которых не ждешь от их вида, – например, скромности.

Я ни разу не замечал за Лореттой ни малейшей оплошности в этом плане, ни малейшей ошибки в манере держать себя, будь мы с ней наедине или в чьей-то компании. Больше того, те нюансы, которые она вносит в наше общение в зависимости от того, одни мы или на публике, поразительны. Наедине со мной она проявляет гораздо меньше сдержанности, чем можно предположить, наблюдая за нами в обществе, где она не позволяет себе никаких вольностей.

Если Лоретта присутствует при моем туалете, то, когда я раздеваюсь догола, она отворачивается. Может быть, из-за того, что сами животные никогда не бывают нагими, наша нагота смущает их до такой степени? Или, может быть, дело лишь в привычке видеть нас всегда одетыми, из-за которой они приходят в замешательство, когда мы сбрасываем с себя всю одежду?

Не знаю, должно ли человечество сгореть со стыда после этих слов, но я никогда не видел существа более воспитанного, более утонченного во всех отношениях, чем моя собака.

Мне кажется, ни с одним существом на всем свете у меня не было такого взаимопонимания, как с Лореттой. Наш обмен взглядами

столь быстр и многозначителен, что любые слова становятся излишними. И, разумеется, она прекрасно умеет дать понять, что хочет есть, пить или справить нужду, используя для этого всевозможные мимические выражения, разные для каждого случая, помимо которых у нее есть еще целый арсенал других – для выражения более утонченных вещей.

Кажется, теперь я понимаю, за что до такой степени люблю свою собаку Лоретту: за всё то, что она демонстрирует редкого, феерического, почти ирреального, оставаясь при этом в своем привычном облике и не прибегая ни к каким искусственным ухищрениям; я хочу сказать, что иногда она кажется не пуделем, а каким-то другим существом – то маленькой лошадкой, то морским коньком. Когда она рысью мчится по лесу – с раздутыми ноздрями, обнаженными клыками, высунутым розовым языком, напоминающими веера ушами и хвостом трубой – ну и вид же у нее! Когда сгущается туман, ее шаги остаются ритмичными, но становятся приглушенными, почти неслышными – такое ощущение, что она уже не идет, а плывет.

Выпутавшись из каких-нибудь неурядиц с себе подобными, я порой обращаюсь к моей собаке с такими бурными излияниями нежности, что она отворачивается и закрывает глаза, как если бы мои порывы казались ей неумест-

ными, – но, отойдя, почти сразу же начинает смотреть на меня с блаженным видом.

Что привлекает меня в животных – это непредвиденный элемент в происходящих между нами немых разговорах, иногда при возникновении какой-то общей для нас опасности, а в иных случаях – при совершенно заурядных обстоятельствах.

Они разделяют наши горести, зачастую совершенно не понимая их сути, – но именно это неведение делает их участие еще более трогательным. Порой они становятся жертвами нашего плохого настроения. Кошки долго помнят об этом. Собаки прощают нас почти сразу же.

Их до глубины души потрясает наш гнев – этот непостижимый для них разлад, эта разновидность безумия, искажающего наши лица, причину которого они не могут понять, даже если дело в них самих. Более того, именно в силу непонимания наших приступов ярости они тем сильнее уязвлены. Они трепещут, оглушенные нашими криками и напуганные резкими жестами. «Что на них нашло?» – кажется, спрашивают себя они. В один миг их привычный мир оказывается под угрозой – как только мы потеряли свой собственный. Порой, при виде разбушевавшейся Элизы, я читаю в их глазах порицание. Даже птицы в своих клетках, будучи защищены их прутьями, все же достаточно близки к нам, чтобы ощущать влияние этих бурь. Наша грубость вызывает у них тре-

вогу. Когда вновь воцаряется спокойствие, они словно бы облегченно вздыхают.

Очевидно, что животные, которые живут бок о бок с нами, составляют себе мнение о нас. Я хорошо чувствую, что Лоретта и Красотка проявляют неодинаковое почтение к Элизе, к Селине и ко мне. Они знают, кому можно всецело доверять, и проявляют симпатию к разным людям в разной степени – мне кажется, число делений на этой шкале бесконечно.

Что было бы для меня самым большим наказанием после Божьей кары – это если бы моя Лоретта хоть на секунду подумала: «Какой грубиян!»

Я размышляю о справедливости поговорки: «Дают в долг только богатым, и тайно».

Мы с Лореттой прогуливались в Буа, и она, недавно подстриженная и ухоженная, выглядела очаровательнее, чем когда-либо. Две дамы, вышедшие на перекресток двух тропинок чуть впереди нас, при виде нее остановились и, всплескивая руками, разразились восторженными восклицаниями, а затем одна из них сказала, обращаясь ко мне: «Ах, месье, как же вам повезло – иметь рядом такое красивое живое существо! Она так хороша, что издалека мы приняли ее за игрушку!»

Утром, когда я открыл дверь-окно, выходящее на террасу, Лоретта медленно преодолела три ступеньки и, поднявшись на помост, по-

смотрела направо, потом налево, словно желая измерить взглядом горизонт, после чего застыла неподвижно, в состоянии, близком к религиозной созерцательности. Можно было подумать, что она молится. Что было бесспорно – это достоинство и торжественность в ее манере держаться.

Чуть позже, этим же утром, уединившись в своем рабочем кабинете за письменным столом, я поискал ее глазами. Ее не было видно, но откуда-то доносился ее голос. Речь Лоретты состоит из низких урчащих звуков и отрывистых резких вскриков, которые ничуть не похожи на собачий лай и скорее напоминают невнятный говор немых – в те моменты, когда им не хватает жестов для эмоций, которые они пытаются выразить.

Я приблизился и обнаружил ее на террасе, с просунутой между столбиками балюстрады головой, в разгар беседы с псом парикмахера – это был крупный фокс-хаунд с жесткой шерстью, который, очевидно, изображал Ромео, стоя внизу на песчаной площадке, тогда как Лоретта играла роль Джульетты, стоящей на балконе. Они наперебой подавали реплики, оба в равной степени обескураженные тем, что не могут достичь друг друга.

Наблюдая за ними, я подумал о благотворности бездн, мешающих влюбленным соединиться и тем самым уберегающих их от того, чтобы узнать предмет своих вожделений таким как он есть.

Маршрут наших прогулок в Булонском лесу, от опушки до озера – нечто вроде моего небольшого личного владения, подобного Прокрустову ложу – только вместо него у меня стол, на котором я растягиваю или уменьшаю людей как захочу, благо что жертв поблизости хватает.

Я столько раз обошел эту территорию, что

знаю наизусть все деревья и всех постоянных посетителей.

Сегодня я повстречал одну даму, очень утонченную, которая сказала мне:

– Месье, помните бежевого пуделя, с которым я гуляла здесь раньше? Они были очень дружны с вашей Лореттой, – которую мне очень хочется поцеловать в память о нем. – И она опустилась на колени прямо посреди дороги, чтобы исполнить свое намерение. – Так вот, месье, его больше нет. Он умер, даже не знаю точно, отчего – от какой-то болезни мозга. Мозг собаки – какая загадка! Ах, я никогда не забуду тот взгляд, которым он на меня смотрел, бедняжка, уже в предсмертной агонии. Говорят о таинственных человеческих глазах – но это неправда, потому что почти всегда можно угадать, о чем люди думают. Взять хотя бы моего мужа. Вот уже двадцать лет как мы вместе, и по крайней мере девятнадцать из них нам нечего друг другу сказать! Когда он смотрит на меня, я опускаю глаза – в его взгляде ясно читается, что мое присутствие его утомляет. Но мой пес – о, у него все-

гда находилось, что мне рассказать, и каждый раз это было что-то новое, чего я еще не слышала. Он жил только мной и ради меня! О, если бы он и впрямь умел говорить, он говорил бы не о себе, а обо мне. Он думал только обо мне, и когда ему пришлось покинуть меня навсегда, у меня сложилось впечатление, что он об этом знал и заранее оплакивал не себя, а меня, потерявшую такого надежного и преданного друга. Теперь я вряд ли смогу утешиться – ничто не заменит мне этот взгляд, который открывал мне бесконечные подробности тайной жизни души. Но когда я сегодня увидела вас – точнее, Лоретту рядом с вами, – я впервые после его смерти почувствовала себя счастливой, потому что сказала себе: «Вот еще одна пара счастливых существ на Земле».

Я уже собирался сказать этой очаровательной женщине, с тем чтобы воздать ей честь, – и кроме того, это было правдой, – что своей оживленной манерой и крайней чувствительностью она напомнила мне мою дорогую подругу Мари Лорансен, но она в ту же секунду воскликнула, не дав мне заговорить:

– Надо вам сказать еще одну вещь, месье – глядя на вас, я часто спрашивала себя, кто вы. Это Саша Гитри, говорила я себе, но нет – скоро я узнала, что он носит бороду. Потом: это Жан Кокто. Но тут милейший Лео Ферре со своими сенбернарами меня разубедил: «Жан Кокто! да у него сроду не было никаких животных, кроме его Красотки!»

Чтобы сменить тему, я принялся петь дифирамбы Лоретте, которая с серьезным видом прислушивалась к нашему разговору и, казалось, понимала его смысл. Прежде всего я похвалил ее сдержанность и рассказал, что она никогда не набрасывается на еду, а приступает к ней лишь после своеобразной предобеденной молитвы, состоящей из приближений,

отстранений и прочих церемониальных телодвижений. Я упомянул, что если я даю ей кусочек сахара, она очень тщательно рассчитывает, как взять его у меня из рук таким образом, чтобы не коснуться моих пальцев носом, что, очевидно, выглядит в ее глазах крайне неподобающе. В заключение я поведал, что если ночью, когда она спит на моей кровати, ей случается во сне повернуться ко мне задом, то как только она чувствует, что я просыпаюсь, она тут же переворачивается, еще раньше, чем сама проснется окончательно, – поскольку вежливость и понятие благопристойности до такой степени ей свойственны, что проявляются даже в бессознательном состоянии.

Никогда Лоретта не понимает меня лучше, чем когда мне случается либо стонать, либо веселиться, – поскольку те непроизносимые звуки, которые я в такие моменты издаю, и необдуманные жесты, которые я себе позволяю, находятся в пределах того, что она может осознать. В иных случаях она испытывает одно лишь восхищение, поскольку чувствует,

что мои действия явно превосходят ее интеллект.

Небольшое странное событие. Я в задумчивости шел по лесной тропинке. Лоретта, недавно спущенная с поводка, прыгала и скакала, обогнав меня на добрые две сотни метров. Я радовался, что она такая подвижная, – как, должно быть, радуется Бог, глядя порой на меня, когда я ощущаю прилив сил и веду себя почти как молодой человек:

– Ну надо же, я-то считал его старой развалиной, а он все еще трепыхается!

В какой-то момент я поискал Лоретту глазами, но не нашел. Исчезла! Я уже начал беспокоиться, как вдруг заметил вдалеке, у самого горизонта, черную точку. Я позвал ее, и Лоретта, без особой спешки, развернулась и приблизилась ко мне.

Но что такое она держала в зубах? Тряпку? Нет, это оказалась змея, которая почти сразу выскользнула и уползла в траву. Не веря глазам, я поискал очки, но тщетно – я забыл их дома. Змея тем временем исчезла бесследно. Было ли это неким знамением, пророчеством? Кто бы мог подумать – медянка или уж в Булонском лесу!

Никогда я не испытываю большего волнения, чем в тех случаях, когда мне случается встретиться глазами с моей собакой в некоторых ситуациях, например, во время молитвы. От-

того ли это, что молитва порождает некое разделение между нами, поднимая меня на такую высоту, куда ей путь заказан? Ей остается лишь сожалеть, оставшись внизу – лишь ее грустный взгляд следует за мной туда, куда она сама не может меня сопроводить.

Сентябрь 1959, Жуан

Когда ко мне приблизился хирург, чтобы заделать трещину во внутренней носовой перегородке моей правой ноздри и тем самым избавить меня от кровотечений, Лоретта проскользнула между нами и прижалась к моим ногам. Невозможно было ее оттащить. Надеялась ли она меня ободрить, защитить, чему-то помешать? Нет, думаю, она лишь стремилась самым близким и тесным образом приобщиться к моему страданию, разделить его со мной. Мне хотелось видеть в этом лишь свидетельство ее нерушимой привязанности.

Когда операция закончилась, мы легли вместе и смотрели друг другу в глаза, пока не заснули.

Я заметил, что на прогулках Лоретта обычно следует за мной, не слишком торопясь, когда мы удаляемся от дома, и быстро бежит впереди, когда мы возвращаемся.

Ш. предложил такую версию: когда мы выходим, она не знает, куда я ее поведу, поэтому идет позади меня, а дорогу домой знает, отчего и бежит впереди.

А вот и нет! По мне так это объяснение чересчур замысловато, у меня есть другое, попроще. Учитывая, что наш ежедневный маршрут всегда примерно одинаков, дело не в том, знает Лоретта дорогу или нет. Просто лесные тропинки изучены вдоль и поперек – так зачем же торопиться? А вот по возвращении домой ее всегда ждет какой-нибудь сюрприз: лакомство или еще что-то приятное.

Вчера по внезапному капризу она убежала на прогулке очень далеко, резвым галопом, который, очевидно, одурманил ее до такой степени, что она приняла за меня случайного прохожего примерно моего роста и устремилась за ним – но почти сразу каким-то неведомым мне образом поняла свою ошибку. Спохватившись, она обернулась и окинула взглядом горизонт, уже готовая впасть в отчаяние от того, что меня потеряла. Но нет – почти сразу меня обнаружила и устремилась ко мне со всех ног; к ее радости примешивалась некоторая доля раскаяния. То, что она могла спутать меня с незнакомцем, очевидно, казалось ее преданной натуре чем-то вроде нанесенного мне оскорбления.

Когда мне случается в середине дня растянуться на ковре у себя в кабинете, чтобы подремать, Лоретта тут же выходит из своей ниши и вытягивается параллельно мне на некотором расстоянии, позволяющем лишь де-

ликатно обхватить мои руки своими лапами – точнее, мои лапы своими руками, затянутыми в бархатные перчатки.

Если вы хозяин собаки, у нее со временем вырабатывается привычка следовать за вами повсюду, почти с той же неизбежностью, как это делает ваша тень. Лоретта привязана ко мне невидимой нитью, которая вынуждает ее перемещаться вместе со мной. Лишь с помощью настойчивости, даже некоторой жесткости, можно добиться от нее, чтобы она, например, не спускалась следом за мной из моего кабинета на первый этаж по ночам. Ничто не побуждает ее так поступать, кроме этой неумолимой, беззаветной преданности, которой она неосознанно повинуется. Поскольку излишний шум среди ночи может потревожить спящих домочадцев, я пресекаю ее попытки следовать за мной и рекомендую ей ложиться спать. В конце концов она неохотно смиряется, но остается бодрствовать, терзаемая беспокойством, вплоть до моего возвращения.

По утрам, около пяти часов, когда я обычно завтракаю, Лоретта держится на некотором расстоянии в глубине кухни, ожидая моего приглашения, чтобы приблизиться. Только тогда она подходит, но без всякой спешки, не глядя на меня и даже не по прямой траектории, а как бы собираясь пройти мимо, наискосок, поворачивая голову то вправо, то вле-

во. Я не очень хорошо понимаю причину этой чрезмерной сдержанности, этой нарочитой медлительности и настойчивого стремления отводить глаза от того, что привлекает. Может быть, это попытка обуздать свое любопытство? Лишь в тот момент, когда она берет протянутый мною сухарик, кусок сахара или сыра, Лоретта поднимает на меня глаза и больше уже не отводит их, словно в знак признательности за угощение. Затем она снова отходит и ложится на ковер, где съедает лакомство, прежде чем вернуться за новым, с неукоснительным соблюдением все тех же ритуалов.

После того как я гашу свет и Лоретта укладывается у меня в ногах, она через некоторое время приступает к осуществлению своего изначального замысла: постепенно добраться до моей левой подмышки и, осторожно положив голову мне на грудь, прижаться к сердцу.

Ее сообразительность потрясающа. Вчера, когда мы заканчивали ужинать, по радио стали передавать выступление Элизы. Она в этот момент сидела справа от меня, а радио находилось слева. Лоретта, примостившаяся у меня на коленях, пристально и жадно, как зачарованная, уставилась на свою хозяйку, словно обеспокоенно спрашивая: «Как такое может быть – ты молчишь, а я все равно тебя слышу?». В этом крылась для нее какая-то необъяснимая загадка, о чем удивленное выражение ее

физиономии говорило красноречивее всяких слов – так что даже Элиза была растрогана.

Сегодня утром я открыл входную дверь дома, чтобы вывести Лоретту на прогулку в лес. Обычно она сразу устремляется наружу, поскольку такая прогулка – единственное значимое событие и самая большая радость в ее размеренном существовании. Но сегодня – ничего подобного. Она оставалась внутри, неподвижная, застывшая, и словно чего-то ждала, изредка бросая на меня вопросительные взгляды. Несмотря на мои настойчивые приглашения, она никак не решалась выйти.

Почему?

Менее рассеянная, чем я, она заметила, что я забыл взять поводок – обязательный элемент наших прогулок. Ее неподвижность была единственным доступным ей способом напомнить мне об этом.

Едва я спохватился и исправил свою оплошность, Лоретта тут же выбежала за порог.

КРАСОТКА

Со вчерашнего вечера у меня живет Красотка – маленькая дымчато-голубая персидская кошечка с золотыми глазами, двух с половиной месяцев от роду.

Это настоящая драма для Лоретты – она чувствует угрозу для себя в лице новоприбывшей, с которой ей отныне предстоит делить мои ласки и свою еду. Она явно не собирается добровольно с этим смириться.

Отдавая ее мне, мадам Перро сказала: «Это дочь Каруна, настоящего Повелителя кошек. Однажды мне захотелось посмотреть на этого знатного сеньора, чью дочь я взяла на воспитание. И вот передо мной оказался гигант со свирепым взглядом, которого можно было погладить только в присутствии его хозяйки, да и то с осторожностью».

Красотка тоже кажется довольно пышной – но это в основном из-за ее длинной шелковистой шерсти. Густые кустики волос, похожие на эгреты, растут у нее из ушей, отчего кажется, что ее голову украшает шляпа с перьями – она и в самом деле выглядит как знатная девица.

Являя собой воплощенную мягкость, она дистанцируется от остального мира скорее в силу врожденного благородства, чем настороженности. Наблюдая за ней, можно предположить, что она способна поддаться очарованию некоторых голосов или некоторых слов.

Известно, что персидские кошки никогда не соглашаются, даже в сильные холода, свернуться на коленях своих хозяев, как это делают прочие «домашние» представители семейства кошачьих. Чтобы засвидетельствовать вам свою любовь, Красотка приподнимается к вашему склоненному лицу и касается вашего носа своим. Может быть, это поцелуй или, скорее, некий еще более интимный знак ее симпатий.

Разумеется, при виде ее невозможно удержаться от восхищенного возгласа. Должно быть, ее красота и в самом деле имеет королевское происхождение, поскольку даже незнакомцы, как я несколько раз замечал, непроизвольно восклицали: «Что же это за принцесса?»

Ревнуя меня к моей работе, Красотка прыгает на стол, как только я за ним располагаюсь, и укладывается прямо на лежащий передо мной лист бумаги. Ее почти по-человечески серьезный взгляд повелительно говорит: «Нет! Сначала займись мной, а там посмотрим». Я не побеспокоил бы ее и за целое царство. И вот, словно желая придать смысл своему вторжению, или вознаградить меня за послушание, или развлечь меня в моем вынужденном безделье, причиной которого она стала, –

Красотка склоняет свое осененное пушистым султаном ухо к моим сложенным ладоням и делает вид, что слушает – как мы обычно слушаем прижатую к уху морскую раковину. Прикрыв глаза, она проводит прохладным носиком по моим пальцам, как бы в знак почтения, а потом уже более фамильярно облизывает мои ногти розовым язычком.

Сегодня она решилась на более дерзкий поступок. Отказалась ли она ради меня от неписаных обычаев своего племени? – так или иначе, она запрыгнула мне на колени, но не для того, чтобы свернуться клубком: вместо этого она скользнула мне под халат, обогнула изнутри мою спину, словно проходя сквозь туннель, и вылезла с другой стороны, после чего с равнодушным видом удалилась, как ни в чем не бывало – как будто случившееся было простым розыгрышем с ее стороны.

Красотка – весьма педантичная особа: она точно знает, куда направляется и чего хочет в определенные часы, и регулярно обходит все места в доме, которые ей нравятся, одно за другим.

По утрам я просыпаюсь первым. Как только она слышит, что я зашевелился, она тут же спешит мне навстречу. Очень редко она остается одна в комнате.

Поскольку я сразу же спускаюсь в кухню, где готовлю себе первый завтрак, она следует за мной и располагается на этажерке возле ок-

на, выходящего в сад. Для нее это час созерцания, иными словами, утренней молитвы. С видом знатной дамы в фамильной часовне она складывает лапки и поднимает глаза к небу или опускает долу, точнее, цветочным грядкам. Заметив муху, бьющуюся в стекло, или воробья, перепархивающего с ветки на ветку, она слегка вздрагивает, выходя из молитвенной сосредоточенности, а затем словно бы рассеянно улыбается или хмурится, в зависимости от настроения.

Потом она поднимается за мной в кабинет, где помогает застилать постель, увлеченно бегая за простыней, белизна которой ее завораживает. Когда я набрасываю на кровать простыню, словно рыболовную сеть, Красотка ныряет под нее, чтобы поиграть в прятки, а когда я принимаюсь разглаживать складки ладонью, она словно плывет под водой, вплоть до того момента, когда я отдергиваю край простыни, разоблачая ее маневры. Тогда она с обиженным и слегка растерянным видом спрыгивает на пол, а затем поворачивается ко мне спиной и начинает умываться, делая вид, что ничего особенного не произошло.

Когда я располагаюсь в своем углу, чтобы поработать, она садится возле высокого окна-двери, выходящего на бульвар Брюи, и наблюдает за прохожими.

Если штора опущена, она в нетерпении пытается ее приподнять, возмущенно мяукая,

чтобы я пришел ей на помощь, и я поспешно исполняю ее требование. Если окно запотело, она начинает протирать его своей бархатной лапкой с втянутыми когтями, как примерная домохозяйка, старательно очищая один стеклянный квадратик за другим.

Красотка исповедует религию Огня и Воды, благоговейно созерцая то один, то другой элемент этих стихий, священных для нее.

Когда я подношу спичку к сложенным в камине дровам, она внимательно наблюдает за вспыхнувшим пламенем, сидя совсем близко, словно собираясь его коснуться или даже прыгнуть прямо в камин; однако волны жара быстро дают о себе знать, вынуждая ее быть осторожной.

Точно так же, когда я открываю кран, Красотка, склонив голову, наблюдает за тонкой струйкой воды, словно отсчитывая первые капли, прежде чем протянуть лапу и перехватить ее, после чего подносит собранную воду к глазам и только потом пьет. Когда напор воды усиливается, она брызгает на нас лапой, словно кадилом, но как только вода начинает хлестать слишком сильно, отстраняется. Красотке совсем не хочется спалить или намочить свою шерсть.

Если говорить о способностях, врожденных или приобретенных в результате терпеливого обучения и передаваемых из поколения в по-

коление, а также отдельных свойствах, присущих особо избранным индивидам, словно отмеченным какой-то волшебной печатью, – то мне кажется, что кошки наделены ими в гораздо большей степени, чем собаки (хотя некоторые породы собак составляют исключение).

Столь внимательная и утонченная во всем, относящемся к области чувств, Лоретта не проявляет ни малейшего интереса к вопросам механики. Напротив, Красотка, гораздо менее сентиментальная, часто размышляет – или выглядит так, будто размышляет, – о том, что вызывает у нее любопытство, но не поддается объяснению. Впрочем, я и раньше замечал ту же манеру у Дуду. Когда я поворачиваю колесико крана, чтобы наполнить ванну, Красотка наблюдает за моими движениями и, поскольку почти сразу же слышит шум льющейся воды, становится очень сосредоточенной – чувствуется, что для нее важно это понимание причинно-следственной связи, одного из основных принципов рационального мышления, присущего, как считается, исключительно роду человеческому. Этот процесс осознания настолько отчетливо передает ее мимика, что остается лишь гадать, происходит ли он на самом деле или только имитируется. Пожалуй, философы все же поспешили определить границы области инстинктов и интеллекта, так много отдав нам и так мало – животным. На переходной шкале между тем и другим – бесчислен-

ное множество делений. Рука, распределяющая дары, кажется, так же неспособна обойти основные законы мироздания, как порой избежать импровизаций и фантазий.

Ничто не волнует Красотку сильнее, чем птицы, – вероятно, потому, что они летают и поют. Она словно говорит с ними издалека, отвечая на их щебет жестокой гримасой.

Она постоянно становится жертвой одной и той же ошибки, что говорит о ее не слишком хорошем зрении. Стоит мне свистнуть, ей уже мерещится шорох птичьих крыльев, и она устремляется ко мне, впрыгивает на колени и тянется к лицу, стремясь добраться до моего рта, – именно там, по ее представлению, скрывается существо, которое свистит. Мне стоит большого труда уговорить ее не кусать мне губы и освободиться от нее.

Красотка принимает участие во всех событиях домашней жизни, по мере того как они сменяют друг друга. Она учит уроки вместе с Селиной. Интересно, что она запоминает, когда, положив передние лапки на учебник географии, неотрывно следит за губами Селины, повторяющей очередную главу?

Сегодня утром, на рассвете, Красотка впервые услышала доносящиеся из сада вопли окрестных котов, устроивших очередную вакханалию. Она с вопросительным видом приподняла ушки, словно говоря: «Так-так, значит,

я не единственная в своем роде – и меня никто об этом не предупредил? Что ж, это всё меняет. Надо принять соответствующие меры, собрать всю информацию, завязать отношения с моими собратьями, раз уж они существуют».

Поскольку она никогда не выходит за пределы дома, остается только гадать, каким представляется ей внешний мир – скорее всего, она считает, что он полон опасностей, возможно, даже недоступен.

Сегодня утром она вторглась в мой кабинет в крайнем возбуждении: она обошла всю комнату, изучила все уголки, облазила всю мебель, а когда я начал застилать постель, тщательно, как всегда, и для начала перевернул матрас – она вспрыгнула на него и стала ждать, когда дело дойдет до простыни. Эта белая материя, столь же текучая, как вода, но при этом не мокрая, не имеющая крыльев и все же летающая, всегда ее интриговала. Доверившись мне, она позволила набросить на нее простыню и принялась блуждать в шелестящих складках, до тех пор, пока я ее не освободил, чтобы заправить простыню под матрас. Со второй простыней повторилась та же игра, но уже с гораздо большим количеством прыжков и прочих трюков – Красотка бежала за волной, затем бросалась в нее и наконец высовывала свою лукавую мордочку из-под края простыни, словно говоря: «А вот и я!»

Красотка – воровка или нумизматка

Едва я погасил свет, собираясь уснуть, Красотка забралась на ночной столик у изголовья. Мадемуазель обычно спит днем и живет ночью. Стоило мне чуть-чуть задремать, она принялась играть с цепочкой от часов. Боясь, как бы она не разбила столь хрупкий предмет, я взял часы и сунул их под подушку. Тогда она занялась горсткой мелких монет, лежавших на небольшом подносе. Я зажег свет и увидел, как она перекатывает монету в пятьдесят франков из одной лапы в другую. Застигнутая врасплох, она схватила монету в зубы, спрыгнула со столика и пустилась наутек.

Ну и ну! Красотка – воровка!

Чуть позже Селина услышала какой-то шорох у себя в шкафу, а затем послышался слабый звон. Открыв шкаф, она обнаружила Красотку, играющую с моей монетой.

Было бы забавно, если бы Красотка вернулась за следующей монетой и постепенно скопила себе состояние где-нибудь в тайном месте. Но нет, она не сорока.

Когда у нее впервые случилась течка, она, не понимая, что с ней происходит, поднимала глаза к небу с таким романтичным выражением, которого не изобразила бы и Ангелика Кауфман*, а потом начинала кататься по ковру, как обезумевшая пантера.

* Ангелика Кауфман (1741–1808) – немецкая художница.

Порой, однако, у нее наступал период некоторого просветления: она догадывалась, что то, о чем она грезила, находится где-то снаружи, за пределами дома, и устраивалась возле высокой стеклянной двери-окна. Но речь шла не о том, чтобы вдохнуть воздух свободы: если перед ней открывали дверь, она испуганно пятилась, словно отказываясь от рискованной

авантюры с весьма возможными жестокими последствиями. В глубине души она предпочитала меланхолию, неясность смутного желания. Только мелкие монетки, которые я рассыпал перед ней на паркете, могли ненадолго отвлечь ее от физиологических бурь. Но удовольствие накопления денег может отвлечь от радостей плоти только мужчин. Для Красотки речь шла лишь о том, чтобы ненадолго избавиться от одержимости чем-то, ей неведомым, известным только Природе, для замыслов которой мы, равно животные и люди, – не более чем смешные инструменты, когда приходит наша очередь повиноваться законам любовной механики.

Избавившись наконец от этих безумных корчей, – с которыми она не могла ничего поделать и которые продолжались три дня, – восстановив спокойствие, Красотка вела себя так, словно приносила извинения за устроенный ею хаотический спектакль, совершенно чуждый ее личности: вернувшись к себе, она как будто сознавала, что была одержима.

Вот так возраст страстей то и дело вызывает у нас потрясения, схожие с сейсмическими колебаниями. Когда они проходят, мы чувствуем то же самое смущение, что испытывает кошка, перед самими собой и перед Всевышним.

В какой степени виной тому становятся наши собственные заблуждения? Бог весть. Но крайне несправедлив тот, кто считает эти бурные приступы преступлением, и еще более опрометчивы те, кто ставит свою безмятежность себе в заслугу. Ни то, ни другое совершенно от нас не зависит.

Безмятежность Красотки, однако, побуждает меня ей подражать и усиливает мою собственную, когда я застаю ее спящей, – ее голова, освободившись от страстных, лихорадочных мыслей, прижимается к мраморной ноге невидимого бога, возвышающейся над моим изголовьем.

Красотка, возможно, оттого, что догадывается о совпадении наших взглядов на многие вещи, всё чаще старается проявлять ко мне симпатию. Если у вас в доме обитает животное, которое вы воспитываете, стремясь подстроить его к себе, оно делает примерно то же самое по отношению к вам, в результате чего между ним и вами завязывается некий тайный взаимообмен. Оно перенимает какую-то часть вашей человечности и взамен передает вам что-то из своего поведения, из своих пристрас-

тий. Замечено, что пастух становится похожим на свою собаку, а собака на пастуха; здесь самая суть той общности, которая объясняется – и ограничивается, быть может, – этим неосознанным взаимоподражанием.

Как только я сажусь за письменный стол и начинаю работать, Красотка прыгает на столешницу и полностью занимает лежащий передо мной лист бумаги. Сначала она слегка привстает, чтобы коснуться моего носа своим – как будто единственной целью ее вторжения было подарить мне эту ласку, которую я охотно готов считать ритуалом, священным для ее породы. Совершив его, она отворачивается с таким видом, словно собирается вернуться к своим привычным занятиям, к своей рассеянной мечтательности. Как бы не так! Что ее на самом деле интересует – это оторвать меня от моих и заставить переключить внимание на нее. А вдруг она голодна? Закрыв собой страницу, которую я собирался заполнить совсем другим содержимым, она побуждает меня отправиться на кухню и приготовить для нее достойный обед. Однако чаще всего ее демарш полностью лишен практического интереса. Не может быть и речи о том, чтобы она спустилась ко мне на колени, – это не для персидских кошек! Должно быть, в ее родовой памяти живет эта заповедь: ни один из представителей ее породы никогда не позволял себе такого рода фамильярности. К чер-

ту показную вежливость. Каждому свое. Человеческие колени созданы лишь затем, чтобы дать ей возможность добровольно отвергнуть трон. Красотка общается со мной на равных, расположившись так, чтобы ее мордочка была на одном уровне с моим лицом – она опирается передними лапками на большой словарь и, словно с балкона, подолгу смотрит на меня, не опуская глаз.

Однако, стоит мне убедиться в том, что она мне больше не мешает, как мои запястья словно обхватывают два бархатистых наручника, цепляющихся за рукава. Вслед за этим мне приходится выносить сцену ревности.

– Что же это такое? – возмущается Лоретта. – Красотке позволено сидеть на столе хозяина, который больше любит меня, – а я, я, его Лоретта, вынуждена сидеть под столом? Какое незаслуженное унижение! Вели ей спуститься, или разреши мне подняться!

Шум и возня, сопровождающие эти жалобы и претензии, не оставляют Красотку равнодушной. Она торжествует, греясь в лучах своей славы, и если я решаюсь ее отстранить, чтобы умиротворить ее соперницу, она обиженно удаляется и ложится на большую раскрытую Библию, которую, кажется, задумчиво читает, проникаясь священным текстом – или же, что выглядит еще более мистическим и завораживающим, – удаляется в стенную нишу, где возвышается статуя Предвечного, и слегка касается изображения Сына или Голубя, сидя-

щего на вершине Креста, прежде чем блаженно растянуться, созерцая великую мистерию божественной Троицы.

Теперь все ее амбиции полностью удовлетворены.

Письмо Элизе и Селине, которые отдыхают в Ландах, в Прешаке:

110 «Красотка скучает. Ей не хватает вас. После вашего отъезда она отказывается от любой еды. Я собираюсь пойти на рынок и купить ей кошачьей травы, чтобы она смогла прочистить желудок. Может быть, ее меланхолия – всего лишь следствие избыточных жидкостей, отягощающих ее печень.

Утром, когда я пил кофе, я выпустил ее в сад, где она пробыла с четверть часа, удовлетворила все свои нужды и зарыла все следы у подножия кипариса.

Ближе к полудню ее огорчение еще усилилось, когда она увидела, что я завтракаю один. Но, гоняясь за мухами вдоль окон, она о вас забыла.

Когда я начинаю вам писать, мне кажется, она догадывается об этом – тут же вскакивает мне на плечо и будто шепчет на ухо, прося передать вам что-то от нее.

Я всё никак не перестану говорить о Красотке. Каждое утро, когда ваши письма уже получены и прочитаны, она, словно догадываясь, откуда они пришли, растягивается на них и водит по ним носом туда-сюда, словно чи-

тая строчку за строчкой. Может быть, она копирует меня? Поскольку она ничего не понимает, ее вопросительный взгляд обращается ко мне, и погружение в эти живые и беспокойные золотистые топазы трогает меня до глубины души.

С тех пор как мы остались одни, она как будто привязалась ко мне еще сильнее: когда я пишу, ее носик едва не касается кончика моего пера, и она внимательно следит, как я вывожу слова на бумаге, до тех пор, пока, утомленная моей непонятной манией, она не обрушивается на меня, чтобы оспорить мое право заниматься чем-то другим, кроме нее, – тогда как я готов признать за ней любые права.

Звонит телефон? Я подхожу, и она спешит за мной, затем вспрыгивает на телефонный столик и смотрит на меня всё то время, что я разговариваю. Иногда она касается бархатной лапкой моих волос и слегка проводит по ним, словно причесывая меня.

Аппетит так и не вернулся к ней. Она соглашается есть, если только я протягиваю ей каждый кусочек собственноручно, и пьет только после меня, из той же самой чашки».

Проходя мимо меня, Красотка не упускает случая с нежностью коснуться язычком моей руки, словно целуя ее в знак почтения к тому, кто ее кормит. Хочет ли она лишний раз доказать себе, что ей позволена подобная фамильярность с существом, чье превосходство

очевидно, или же, напротив, делает мне уступку? Судя по ее манере сразу же отвернуться, словно спохватившись, после того как она это сделала, – скорее второе.

Она принадлежит к королевскому роду. Она дочь Каруна, Повелителя кошек. Иногда, в тех случаях, когда она словно выставляет свое великолепие напоказ, можно подумать, что она аристократическим тоном произносит: «Что общего между мной и всеми остальными?»

Часто у нас в доме начинается настоящий цирк. Красотка и Лоретта, которые по-сестрински друг друга ревнуют, в сущности, превосходно ладят и любят друг друга, каждая на свой манер, соперничая лишь в беготне и нескончаемых проделках.

При этом они далеки от мысли о том, чтобы позабавить нас. Они лишь хотят скрасить себе свой постоянный досуг, иными словами, избавиться от скуки, или же заглушить аппетит. Достаточно прожить с животными пусть даже недолгое время, чтобы заметить, что если сытость усыпляет их, то голод, напротив, заставляет удваивать подвижность. Иногда так же действует и холод.

Вчера Красотка, развалившись на высоком стуле, притворялась спящей, и вдруг молниеносно обрушилась на спину ни о чем не подозревающей Лоретты, которая с безмятежно-рассеянным видом проходила мимо. Лоретта еще не успела возмутиться и даже понять,

что произошло, как маленькая хищница пробежала почти невесомыми шажками вдоль ее спины к голове, спрыгнула на пол, а затем, прекрасно сознавая всю непозволительность своего поступка, бросилась к лестнице. Лоретта устремилась в погоню, прыгая через две ступеньки. Сражение закончилось в гостиной, где меньше чем за минуту все ковры были сдвинуты и перевернуты, и в итоге победа осталась за Красоткой, которая, как всегда, забралась повыше – «на насест», как говорит Селина, – и принялась наблюдать за соперницей, лишенной всякой возможности добраться до нее и стащить вниз. Бедная Лоретта уже в который раз стала жертвой этой воинственной и неуловимой бестии.

Что больше всего на свете вдохновляет Красотку на дерзкие выходки, – так это шиньон и особенно украшенный круглым шерстяным помпоном хвост Лоретты, которым та почти все время ритмично помахивает туда-сюда, а если очень довольна – вертит с головокружительной быстротой.

И вот Лоретта проходит мимо кресла, в котором дремлет Красотка, свесив одну переднюю лапу, – но уже в следующий миг эта лапа вцепляется в ухоженные завитки лореттиной шевелюры, и, растрепав ее, мгновенно перемещается к пушистому помпону на ее хвосте, в который впиваются когтями и остальные лапы, не давая жертве сдвинуться с места. Лорет-

та возмущенно оборачивается, но разве может ее добрая собачья душа долго сопротивляться вкрадчивым кошачьим нежностям? Красотке достаточно лишь коснуться ее мордочки своим крохотным носом – и мир восстановлен.

Я наблюдаю за Красоткой, которая смотрит, как Элиза причесывается и красит губы, – словно берет у хозяйки уроки кокетства перед тем, как заняться собственным туалетом.

Если кран в ванной закрыт неплотно, легкий шорох воды в водосточной трубе заставляет Красотку предположить, что там прячется мышь. И вот она неподвижно караулит добычу до тех пор, пока не догадывается, что одурачена.

Красотка во время течки назойливо ищет наших ласк. На помощь ей приходит Лоретта. Я не решаюсь упрекнуть ее в том, что в своем сопереживании она заходит слишком далеко.

Вчера вечером, как только я забрался под одеяло, Лоретта свернулась клубком поверх него на небольшом покрывальце, которое принадлежит ей и только ей, о чем Красотка отлично знает – Лоретта ревностно охраняет свою собственность из лоскутных квадратиков от ее посягательств. Но ведь это не повод отказаться от всей остальной кровати, резонно предполагает Красотка и начинает словно в рассе-

янности бродить по ней, пока не оказывается за моей головой, на гребне подушки, который представляет собой нечто вроде моста.

Лоретта притворяется, что ничего не замечает, Красотка меряет ее пренебрежительным взглядом, и вот так они пребывают рядом со мной, одна у меня в ногах, другая в изголовье. В конце концов, они же подруги, по крайней мере, приятельницы, и если они порой докучают друг другу, то не слишком сильно. К тому же они обе признают, что Лоретта занимает свое постоянное место на законном основании, а Красотка проникла на свое обманным путем и ненадолго – узурпировав его, она на нем долго не продержится.

Однако есть одна вещь, несомненная для обеих, когда они думают обо мне: что я никогда не оставлю без внимания ни одной из них; что, пока я жив, они не будут ни в чем нуждаться – и это общее благо, которое они разделяют, не истощая его, их сближает, развеивая в прах малейший повод к войне между ними.

Так же, как ангелы в раю не могут обойтись без присутствия Бога, Красотка и Лоретта никогда не могут подолгу оставаться там, где нет меня – иными словами, где не присутствует их персональный добрый гений.

Вчера – мученица на раскаленной решетке любви, сегодня – самое безмятежное созда-

ние на свете. Как объяснить прохождение в ней, сквозь нее, этого циклона, к которому она, кажется, не имеет никакого отношения? В Красотке я узнаю себя, свою собственную историю.

У Красотки и Лоретты есть свои ритуалы, которые они свято чтут, при том, что каждая из них очень удивляется, наблюдая за ритуалами другой.

Лоретта, перед тем как приступить к еде, почтительно приближается к миске и снова отступает, иногда повторяя эти восточные церемонии по двадцать раз. Словно танцуя менуэт, она делает шаг вперед, затем шаг назад, одновременно поднимая голову или покачивая ею то вправо, то влево.

«Это кончится когда-нибудь?» – кажется, думает Красотка, глядя на нее удивленно и слегка насмешливо. Сама она уже давно покончила со своим супом, а Лоретта все еще продолжает, на свой лад, читать *Benedicite*.

Чуть позже настает очередь Лоретты с удивлением наблюдать за церемониями Красотки, непонятными для нее – справив свои естественные нужды, та переходит к ритуальным отправлениям и исполняет вокруг лотка, от которого еще поднимается легкий пар, нечто похожее на пантомиму, сводящуюся к тому, что она делает вид, будто зарывает – символическим жестом, просто для вида – неизбежные последствия пищеварительного процесса.

Красотка и Лоретта обычно пребывают вместе со мной в моем рабочем кабинете, но когда я занимаюсь делами, требующими постоянных хождений с этажа на этаж, они, чтобы не расставаться со мной и друг с другом, располагаются на лестничной площадке – Лоретта в своем домике-конуре, Красотка на его крыше: одна склоняет голову, другая поднимает глаза. Так они не теряют из вида ни друг друга, ни меня.

Бывает, что Лоретта смотрит на меня снизу вверх с нежностью, настолько близкой к обожанию, что я лишь с трудом удерживаюсь от слез.

Красотка – другое дело. Например, сегодня вечером она расположилась прямо перед моим лицом, словно в театре в ожидании спектакля, который бы ее развлек; вся обратившись во взгляд, она следила за малейшими движениями моих губ и подрагиванием век с напряженным, неослабевающим вниманием, в котором, однако, не было ни малейшего проблеска нежных чувств – одно лишь любопытство.

В жизни нашего зверинца случилось примечательное событие.

А. пришел фотографировать нашу гостиную в сопровождении бассет-хаунда.

Мы даже не заметили, как это началось, как вдруг из-под стола, накрытого длинной

плотной скатертью, донесся шум, затем послышалась какая-то возня, и в следующий миг бассет вылетел оттуда пулей и понесся в сад, преследуемый по пятам Лореттой и Красоткой, – всё это под аккомпанемент громкого лая, воя и мява, которые, сливаясь, напоминали что-то вроде охотничьего улюлюканья.

Дальше – тишина.

Вскоре я отправился наверх, в свой рабочий кабинет, где обнаружил обеих четвероногих хозяек дома, очень довольных. Они торжествовали – им удалось защитить свой дом, обитель счастья, и прогнать чужака. Но что меня поразило больше всего – насколько же эта общая победа их сблизила.

Красотка выгнула спину дугой, опираясь передними лапами на Библию – полностью преображенная этой вспышкой гнева, все еще настороже, со вздыбленной шерстью, из-за чего казалась в два раза больше, с обнаженными верхними клыками, придающими ей вид геральдического льва Иуды. Лоретта, стоя на задних лапах, нежно обнюхивала ее, как будто воздавая честь за то, что она не побоялась принять участие в битве. Их дружеская солидарность сразу бросалась в глаза, словно у тех солдат, которые показали себя достойными своей родины, наголову разбив врага.

Вот что всегда отделяло меня как от животных, так и от людей – я считал своим домом Вселенную, а родиной – всё человечест-

во. Если я и отступился единственный раз от этого правила, то лишь по заблуждению и ненадолго.

Поскольку мы высадили на грядки рассаду цинний и петуний вечером, с наступлением темноты, – Красотка, выйдя на следующее утро в сад, была очень удивлена: раньше она здесь ничего подобного не видела. Она обошла все растения одно за другим, поочередно обнюхивая их и словно бы измеряя на глаз их высоту. Затем, напоследок слегка потершись о стебли и листья, она вернулась домой, с довольным видом хозяина, завершившего обход своих владений.

Сегодня я отнес Красотку на Эспланаду Инвалидов, к некоему месье Грана. У него был кот той же породы – рыжий, с карими глазами, в которых поблескивали золотые искорки. Его звали Артур. Легко догадаться о цели моего визита.

Если бы спаривание оказалось успешным, то котята, как меня уверяли, получились бы розово-бежевыми.

Но вместе с тем у меня никак не шло из головы напутствие нашей доброй Элизы, брошенное мне вслед мимоходом:

– Как бы она от этого не загнулась…

– О, прошу вас, проходите!.. – казалось, говорит этот галантный рыжий кавалер, глядя на Красотку с тайным вожделением. Но по-

скольку, как известно, самки персидских кошек достигают едва ли трети размера самцов, в связи с чем сексуальные отношения для них опасны, они соглашаются на это лишь под принуждением. Красотка тут же забилась под шкаф, откуда ее с большим трудом удалось извлечь лишь два дня спустя, когда я пришел ее забирать, – по-прежнему девственную и к тому же
 оголодавшую.

Но благодаря этому случаю Бог дал мне возможность услышать историю, рассказанную месье Грана, – без сомнения, чтобы утешить меня в нашем общем разочаровании:

– Когда-то я выращивал в своем загородном доме фламандских овчарок, и однажды пообещал самого красивого щенка из недавнего помета одному своему другу. И вот воскресным днем я прибыл в его поместье, где он жил с женой и детьми, меньше чем в полукилометре от меня. Мой подарок самостоятельно шел следом за мной. Едва лишь я представил его семейству, собравшемуся по такому случаю в полном составе, он обвел глазами всех поочередно, затем всех обнюхал и наконец остановился у ног десятилетней девочки-калеки, которая с рождения не могла ходить. Она была очень хорошенькой, с золотистыми локонами, падавшими на плечи. Казалось, она кого-то ждет, стоя рядом со своей инвалидной коляской. И вот этот «кто-то» действительно вошел в ее жизнь, приняв облик Кокле, моей фламандской овчарки.

Тут же улегшись у ног малышки, он признал ее, как хозяйку, – раз и навсегда.

Когда я снова навестил их в следующем году, мне рассказали, что он не отходит от нее ни на шаг, ни днем ни ночью, что каждый день он катает ее, запряженный в инвалидную коляску, которой она управляет с помощью рычагов, а если на пути встречаются препятствия, он убирает их носом и лапами. Вот так он довозит ее, без посторонней помощи, до небольшой рощицы. где она отдыхает в тени.

Можно сказать, эти двое жили только друг для друга, и этот идеальный союз продолжался около трех лет – до того дня, когда Кокле умер. От горя девочка совсем зачахла и пережила своего друга всего на два месяца.

Мои беседы с собакой и кошкой нельзя назвать всеобъемлющими, но когда дело касается каких-то определенных тем, пусть даже в ограниченном диапазоне, – о, сколько здесь нюансов, сколько горячности в спорах, сколько душевной близости, сколько взаимопонимания! Как легко прочитать в глазах Красотки и Лоретты нежность, иронию, легкое поддразнивание, сообщничество, упреки – когда я ухожу из дома по вечерам, оставляя их одних, сожаление – если они совершили какую-то небольшую, простительную оплошность.

Животное никогда не совершает смертных грехов. Смертный грех присущ лишь человеку, так же как смех и разум, которые пред-

ставляют для рода людского не меньшую опасность.

Внимание, уделяемое животным, придает им достоинство, которое бесконечно возвышает их в их собственных глазах. Я делаю своих Зверей такими счастливыми, что порой подозреваю: возможно, они принимают себя

за божественных существ, и, уже без всякого сомнения, – принимают меня за бога. Так, собираясь по вечерам в моем кабинете, все втроем, мы являем собой некое подобие Олимпа – иными словами, идеального сообщества, близкого к совершенству.

Настоящее святотатство – изводить животное, испытывать его терпение – это еще хуже, чем лишать его уважения, на которое оно имеет право.

И наоборот: если из деликатности пригласить его в мир чувств, которые вознесут его над остальными его собратьями, – в его глазах можно будет заметить отблеск благородства, столь близкого к человеческому, что граница, отделяющая его от нас, окажется почти преодоленной; и нет ничего более волнующего, чем подобная метаморфоза, – я хочу сказать, преображение.

Как-то раз я поставил миску с едой возле домика Лоретты, стоящего в моем кабинете, и как только она приступила к еде, солнце,

не появлявшееся уже целую неделю, заглянуло в окно. Лоретта без малейшего колебания отказалась от еды, чтобы растянуться на полу в его лучах. Я счел этот выбор настолько поучительным, что решил ее за него вознаградить, – но в тот самый момент, когда я уже склонился над ней, чтобы запечатлеть на ее лбу поцелуй, на солнце набежало облако, и, сочтя, что именно я в ответе за тень, закрывшую ей свет, Лоретта посмотрела на меня с возмущением.

Ничто не действует на человека так благотворно, как общение с животным, которое здорово, весело, хорошо воспитано, знает свое место, всегда держится с достоинством, даже когда болеет, и с еще большим – когда приходит время умирать.

Разумеется, наилучшим примером того, как надо жить, служат мне вовсе не люди, которые меня окружают, а мои животные.

Красотка во время обеда «заправляется» едой – так светильник заправляют маслом, – затем тщательно вылизывается и весь остаток дня пристально созерцает в пустоте перед собой нечто, видимое только ей. Ее нескончаемые медитации побуждают меня находить счастье в размышлениях наедине с собой или в созерцании всего того, что день за днем приходит в мою жизнь. К чему искать его где-то еще – оно повсюду. Для меня оно там же, где и я, особенно в молчании и неподвижности.

Лоретта, со своей стороны, являет мне образец терпеливости, хорошего настроения без всяких причин, мягкости по отношению к себе и другим, и всё это – в гораздо большей степени, чем, например, господин кюре из церкви Сен-Оноре-д'Эйло.

Я прекрасно понимаю художников эпохи ран-

него христианства и Возрождения, которые часто изображали на своих полотнах, даже посвященных религиозным сюжетам, какое-нибудь домашнее животное. Не говоря уже о том, что само наличие домашнего питомца указывает на уровень цивилизованности той или иной среды прошлых эпох, – его скромное присутствие придает некое дополнительное измерение реальности того события, в котором он принимает участие.

То же самое и в жизни. Когда кто-то умирает, люди, облачившиеся в траур и собравшиеся вокруг смертного одра или гроба, вряд ли испытывают более сильное душевное волнение, чем собака или кошка, которые присутствуют при наших мистериях, задаваясь мучительными вопросами о том, что мы, как нам кажется, твердо знаем. Это противопоставление сознаний, по-разному освещенных, является поводом к размышлению. Какую выразительность приобрел бы образ распятого Христа, если бы где-то рядом, в тени его мученичества, заржала лошадь. Без сомнения, недаром евангелист на-

звал вола и осла в числе свидетелей рождения Бога.

Мари часто говорила мне, когда речь заходила о моих животных:

– Они сами не понимают своего счастья – иметь такого хозяина, как ты.

Герцогиня, уже в глубокой старости, когда я заходил выпить с ней кофе на террасе «Вигье», на авеню де Терн, гладила Лоретту, которую уже не видела, – к тому времени она совсем ослепла, – шепча: «Ах, почему я не могу оставить свое тело и переселиться в это очаровательное создание, чтобы с вами не расставаться!..»

Мне скажут: «А вы уверены, что эта собака любит именно вас? Ведь окажись на вашем месте другой, она любила бы его не меньше!»

Я возражу: «Будь она собакой кого-то другого, она бы не была Лореттой. Это мы ее так назвали. И поскольку никто другой не обращался бы с ней в точности так, как я, иными словами, с такой заботой и вниманием, – она бы не смогла быть настолько счастлива, а будучи менее счастливой, она не могла бы любить другого так, как любит меня; ведь ее любовь ко мне – это просто отражение того счастья, которое я ей даю».

Всякий раз, когда Красотка довольна своим супом, я получаю право на целый час (или даже больше) ее обожания. Она вспрыгивает на мой

стол, за которым я пишу, и поспешно удаляется в свой законный угол, возле письменного прибора, куда я обычно кладу газету. Там она и располагается, по-королевски соблюдая дистанцию, – этакая львица в миниатюре, – и ее золотые глаза созерцают меня с таким выражением, словно я сам Господь Бог. Нет, ничто не может растрогать меня сильнее, чем такого рода почести.

Красотка и Лоретта при встрече обнюхивают друг друга и порой обмениваются ласками – без промедления, но без всякой навязчивости, а затем, словно в один миг потеряв друг к другу интерес, расходятся каждая своей дорогой.

Забавно наблюдать, как Лоретта иногда позволяет себе по отношению к Красотке вольности, которых та не выносит. Кошкам свойственна стыдливость касательно некоторых вещей, и они неукоснительно соблюдают определенные запреты, тогда как собакам неведомы никакие ограничения в области чувственности. Однако, сколько бы Красотка не отказывала Лоретте в исполнении ее желаний, я никогда не замечал, чтобы она сумела против воли Лоретты добиться от нее, в свою очередь, каких-либо действий, – хотя та никогда не позволяла ей познать горечь отказа.

Вчера вечером я наблюдал, как они вдвоем играли в мячик, каждая на свой лад. Для Ло-

ретты мячик – нечто вроде фетиша, который она часами теребит или перекатывает между лапами, как бы воздавая ему почести, – в такие моменты она особенно похожа на арапчонка из уличного кукольного театра, сходство с которым меня всегда в ней поражало.

Для Красотки мячик – это собственность Лоретты, и если она порой мимоходом толкает его, то делает это как бы украдкой, словно сознавая, что это незаконно.

Когда Лоретта, вспомнив молодость, начинает резвиться, скатывая свою игрушку вниз по лестнице, а потом относя ее в зубах наверх, Красотка, словно воображая себя в театре, усаживается за бамбуковыми балясинами перил, словно Кардинал в своей зарешеченной ложе в Опере.

Иногда мячик закатывается куда-нибудь под шкаф, и я узнаю об этом только потому, что оба моих зверя садятся рядом и терпеливо ждут, когда он вернется обратно. Когда я наконец его достаю, чтобы от них отделаться, Лоретта его наказывает. Она либо заточает его в свою домашнюю конуру на целый день, либо ставит в угол на лестничной площадке и сторожит. Красотка наблюдает за этим на небольшом расстоянии, ожидая развития событий.

Всякий раз, когда ей удается ускользнуть через террасу в сад, Красотка ловит там птицу и быстро возвращается домой, неся в зубах

свою отчаянно трепыхающуюся жертву, которую мы освобождаем, ругая хищницу.

После нескольких печальных опытов такого рода она, чтобы не поддаваться больше искушению, остается сидеть за стеклом, даже если окно приоткрыто, – с выпущенными когтями, оскаленной пастью, готовая напасть, воображающая, очевидно, что случилось бы, позволь она себе преодолеть то ничтожное расстояние, что отделяет ее от жертвы, – но нет, она предпочитает от этого удержаться, чтобы не вызвать у нас неудовольствия.

В этом стекле, единственной преграде между ней и бойней, столь же прочном, сколь и прозрачном, мне видится вся хрупкость мудрости, которая сдерживает нас в границах долга.

Завтракая сегодня утром с Селиной, я рассказал ей, что творилось у меня в кабинете прошлой ночью, и мы в очередной раз порадовались за свой домашний цирк.

Накануне мы втроем – Селина, Лоретта и я – ходили гулять в лес, и по возвращении я убрал мячик Лоретты в нижний ящик шкафа, стоящего возле моей кровати.

Потом я лег спать. Лоретта, как всегда, улеглась у меня в ногах.

Среди ночи я услышал, как кошка ходит по комнате туда-сюда, потом вдруг скрипнула дверца, паркет слегка застонал, и одновременно с этим послышался еще какой-то при-

глушенный шум – словно на пол уронили что-то мягкое.

«Должно быть, Красотка открыла шкаф и вытащила мячик», – подумал я.

Я включил свет – и в самом деле, кошка, лежа на спине, прижимала мячик к животу всеми четырьмя лапами, собранными в некое подобие букета.

Застигнутая врасплох в этой позе, она некоторое время оставалась неподвижной; затем, словно кто-то привел в действие спусковой механизм, выпустила когти и вцепилась в свое сокровище. Трудно вообразить себе нечто более очаровательное, чем эта лукавая мордочка, обернувшаяся ко мне, эти устремленные на меня золотистые глаза, этот красный мячик на фоне дымчато-серой шерсти. Идеальный момент, чтобы сделать фотографию – но уже в следующий миг Красотка вскочила.

Карамболь*.

И тут проснулась Лоретта.

Глубоко оскорбленная представшим ей зрелищем своего мячика в чужих лапах, она уже собиралась броситься на похитительницу, но тут же одумалась, и я почти услышал, как она вполголоса произносит: «Бедная дуреха!» – и затем, на сей раз обращаясь ко мне: «Для нас, взрослых разумных созданий, сейчас время спать». И снова свернулась на своем покрывальце. Я выключил свет. Этим всё и закончилось.

---

* Красный шар в бильярде.

Величие животных в том, что они умеют предаваться безделью без всяких сомнений и угрызений совести, при этом не зная скуки. Привычное для них отсутствие активности не имеет ничего общего с ленью.

Проводя без движения целый день, они словно созерцают свою сущность и, судя по всему, находят ее полностью удовлетворительной.

Если бы мы, люди и народы, почаще им в этом подражали, скольких поводов для ссор и войн нам удалось бы избежать!

Те, кто отказывают себе в обществе собаки или кошки, даже не сознают, сколько они теряют возможностей по-настоящему познать себя, соизмеряя с этими маленькими существами, гораздо менее отличными от нас, чем кажется, – поскольку зачастую они вынуждают нас пересмотреть наши поводы для гордости. Во многих случаях они имеют право гордиться собой гораздо больше, чем мы.

Недавно в общении наших питомиц между собой произошло кое-что примечательное. Незадолго до того мы заметили под одним из сосков Лоретты небольшое уплотнение, которое заставило нас предположить, что речь идет о нарыве. Я отвез ее к ветеринару, который вскрыл нарыв и очистил рану от гноя, после чего Лоретта вернулась домой, окутанная широкой плотной повязкой. И тут же Красотка принялась оказывать больной совершен-

но несвойственные прежде знаки внимания. Она обнюхала Лоретту, затем словно бы измерила на глаз прочность и надежность повязки «Вельпо» – с выражением некоторого удивления, смешанного, впрочем, с симпатией. Обычно, когда внешний облик животного претерпевает какие-либо изменения, оно становится подозрительным, не только для своих собратьев, но и для всех животных вообще – как будто для них однообразие является не просто обязательным, но чем-то непоколебимым, неизменным. Однако в манере общения, которую демонстрировала Красотка, ощущалось лишь беспокойство и даже нечто вроде сочувствия. Всё то время, что Лоретта носила повязку, Красотка не оставляла ее без присмотра, наблюдая за ней вблизи или издалека с заботливостью сиделки.

Тесные, дружеские и при этом искренние, лишенные всяких недомолвок отношения у нас складываются только с животными. Они осыпают нас ласками, не отмеряя их, и дарят нам поцелуи без счета. Красотка дотрагивается своим носом до кончика моего так часто, как я ей это позволяю, а Лоретта, если бы я на это согласился, провела бы всю жизнь, облизывая мои руки.

Сегодня утром Красотка сидела на лестничной площадке, когда Лоретта решила подняться на второй этаж следом за мной. С начала

дня они еще не виделись. Обычно, встречаясь по утрам, они довольствуются тем, что приветствуют друг друга, обмениваясь более или менее шаловливыми ласками, но сегодня Лоретта оказалась вообще не расположена к светским любезностям. Она прошла мимо Красотки, словно не видя ее. Та повернула голову и проследила за ней взглядом в полном

изумлении, словно говоря: «Да что это на нее нашло? Что она о себе возомнила?!»

Чаще всего мы живем в невыносимой атмосфере. Селина нашла утешение в любви одного молодого человека, – и вот в один прекрасный день, без сомнения, чтобы отблагодарить ее за то, что она часами гнула спину, занимаясь уборкой, ее разбранили и объявили безапелляционным тоном, что на Рождество наш дом для ее поклонника закрыт, вопреки всему тому, на что ей раньше позволяли надеяться. Вначале Селина, расхрабрившись, заявила, что ей не нужно ничьего разрешения, чтобы любить того, кого она любит, что они всё равно увидятся рано или поздно, – но почти сразу после этих слов разразилась рыданиями.

Упреки, угрозы, крики, плач – всего было в избытке. Наконец, когда глаза Селины распухли и покраснели до такой степени, что нельзя было отличить белки от зрачков, Мадам приказала ей немедленно садиться за пишущую машинку и печатать под диктовку свои мемуары.

Но с этого момента история только начинается. Как раз тогда меня угораздило вернуться домой. Буря была в самом разгаре. Элиза обращалась с малышкой самым жестоким и несправедливым образом, и вот – я увидел это своими глазами – откуда-то неожиданно появилась Красотка и, проскользнув между палачом и жертвой, вспрыгнула на стол, который их разделял, а затем, взобравшись по корсажу Селины к самому ее лицу, начала пить ее слезы, бегущие по щекам. На Элизу это поначалу не произвело особого впечатления, но вскоре она вышла из комнаты на цыпочках, как будто даже слегка пристыженная.

Какое счастье, что рядом с нами есть животные.

Настоящие дикари – это мы.

Чуть позже Селина призналась мне, что этот удивительный порыв Красотки мгновенно и полностью ее утешил, что она никогда бы не поверила, что такое возможно, и что она больше не жалеет о том отчаянии, которое позволило ей узнать, сколько любви к нам таится в сердце животных. Для меня тоже стало значимым событием – оказаться свидетелем такого чуда.

Я смотрю на животных, которые живут рядом с нами, в каком-то смысле как на замаскированных людей, у которых почти те же самые чувства, почти те же самые потребности, что у нас, – выходящие далеко за пределы уто-

ления голода и жажды. У них тоже есть сердце, а у него – потребность в любви, которая достигает порой самой возвышенной страсти.

Когда Красотка, вспрыгнув на мой рабочий стол, побуждает меня устроить ей прибежище достаточно далеко, чтобы мне не мешать, и достаточно близко, чтобы не чувствовать себя одинокой, то именно она хочет общества – моего, – именно она смутно чувствует, что наши проявления деликатности нужны для установления согласия между нами, хотя они столь же отличаются, как и мы друг от друга. Она не сомневается ни в моей снисходительности, ни в моем терпении по отношению к ней, поскольку ей хорошо известно, на какую сдержанность, какую почтительность она сама способна по отношению ко мне.

Что любопытно – привилегия Красотки сидеть на моем столе, которая составляет предмет ее гордости, бесконечно злит Лоретту, вплоть до настоящего ожесточения, тогда как сама Красотка никогда не пытается посягнуть на владения Лоретты, где та правит безраздельно, – ей достаточно своих собственных. Но Лоретте недостаточно быть первой – она хочет быть исключительной, единственной в моей душе и повсюду вокруг меня.

Едва лишь Красотка усаживается на стол напротив меня, Лоретта начинает меня осаждать: она скулит, ворчит, плачет, жалуется, почти говорит, чтобы поведать мне о своем горе,

и успокаивается лишь после того, как ей удается утащить меня куда-нибудь в другое место, подальше от ее соперницы. Для нее совершенно невыносимо, что она не может занять место на моем столе, как занимает его на моей кровати. Она ревниво привстает на задние лапки – и видит, как Красотка сидит и распушается в свое удовольствие, вне ее досягаемости. Между ними завязывается жаркий диспут, но меня сильнее трогают гнев и досада Лоретты, так что в конце концов я ухожу, чтобы она больше не страдала.

Хотя животные не умеют говорить, они различают на слух и отлично понимают целый ряд слов. Возможно, тон нашего голоса, который их уши улавливают лучше человеческих, или выражение лица, нюансы которого они лучше замечают, усиливает или довершает это понимание?

Лоретта прекрасно знает, что такое «хорошо», «красиво», «сахарок», «супчик», «баиньки», «гулять». Она сразу узнает мое имя и имена всех домашних, включая кошку и дрозда, который тоже является частью ее жизни, пусть и отдаленной. Больше того, я полагаю, что Красотка и Лоретта одинаково способны следить за развитием даже сложных бесед, иначе зачем бы им устраиваться возле нас, когда к нам приходят гости, и неизменно поворачиваться к тому, кто в данный момент говорит, – как будто ловя каждое его слово. Прежде все-

го их интересует, не идет ли речь о них самих, и если это так, их внимание сразу обостряется, взгляд становится более живым, а сами они – довольными или смущенными, в зависимости от того, хвалят их или упрекают.

И разумеется, никто не следит за фильмом, который представляет собой моя жизнь, длящимся каждый день с утра до вечера почти без изменений, с большим любопытством, почтительностью и сосредоточенностью, чем они. Если у Бога есть ангелы, то животные, как мне кажется, играют возле нас почти ту же самую роль.

Нет ничего выразительнее, чем глаза немых. Возможно, именно потому, что Лоретта и Красотка не говорят, их взгляды трогают меня до такой степени. Порой мы говорим, что у Лоретты негритянские глаза – когда она закатывает их, и белки ярко выделяются на фоне бархатной черной маски, пронзительные, как крик.

Когда я просыпаюсь ночью и зажигаю свечу, чтобы писать, Лоретта, внезапно выхваченная из сна, открывает глаза и в первый момент словно спрашивает себя: где я, кто я? Потом тем же манером осведомляется о том, к какому виду принадлежит она сама, а также я, – и лишь постепенно осваивается в окружающей реальности, полностью не избавляясь, однако, от некоторой тревоги относительно своего присутствия в этом мире и последст-

вий той авантюры, в которую внезапно обнаружила себя вовлеченной; наконец, к ней возвращается ее обычное спокойствие, словно бы в результате полного воссоединения со всеми окружающими предметами, после чего она снова засыпает. Это наводит на мысли о том, что животным тоже приходится задавать себе, в более или менее четкой форме, некоторые вопросы. Итак, ни одно существо, сколь бы скромным оно ни было, не полностью чуждо основным проблемам философии, коль скоро оно «есть». Именно на чувстве и представлении, на осознании того, что такое «быть», основана вся метафизика: в той мере, в какой оно «есть» и обладает интеллектом, сколь угодно малым, любое живое существо причастно общей гармонии этого загадочного мироздания, к которому мы имеем честь принадлежать вместе – животные и люди.

ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ

МАЛЕНЬКИЙ БЕСТИАРИЙ

Вступление

Не одни лишь нам подобные занимают место в Пантеоне нашей памяти. Там есть и животные, которые стояли еще рядом с нашей колыбелью или встречались нам в путешествиях. Даже те, кто ушли в тень или привычно нежатся на коленях наших первых друзей, по-прежнему там пребывают. Иногда это просто силуэт, нарисованный углем или мелом или вырезанный ножом и полустершийся от времени, но под темными сводами пещер нашей праистории эти тайные барельефы с ясными четкими контурами порой озаряются внутренним светом, словно начиная фосфоресцировать, и остаются такими, пока мы смотрим на них.

В дни особых торжеств мы, будто спохватившись, навещаем и чествуем эти образы, мы собираемся перед ними, чтобы привлечь благосклонность этих скромных домашних духов-покровителей.

Агнец

С той же грустью, что Юпитер об Амалтее, я вспоминаю об одной овечке из нашей овчарни, которая произвела на свет ягненка в тот же день, когда родился я. Ее перевели в дом и поселили в нашей спальне, и я пил ее молоко всякий раз, когда мне не хватало материнского. Так я стал молочным братом ягненка – моего первого друга, самого близкого, и моей первой игрушки, самой послушной из всех. У меня не осталось четкого визуального воспоминания ни о нем, ни о его матери, но мои руки помнят мягкость их шерсти, которую непрестанно гладили.

Животное, увиденное нами первым, кажется, предназначено для того, чтобы символизировать жизнь в наших глазах, особенно если оно все время рядом с нами, – оно словно побуждает нас сделать из него идола, объект поклонения, тотем; его образ множится на наших знаменах, мы хотим видеть его и на всем нашем оружии. Для меня, попавшего из отцовского дома в Божий, где меня крестили (тогда я впервые в жизни вышел из-под семейного крова), – не чудом ли было узреть там обожествленного Агнца – точь-в-точь такого же, как тот, с которым я спал в одной колыбели? Язык и флёр христианской мифологии настолько хорошо сообразуются с мифологией природы, что, кажется, сливаются воедино:

поэзия абсолютного смирения, побуждение к мученичеству, апофеоз пасхальной жертвы, – всё, что я видел вокруг, предлагало мне этот идеал. И если мой отец-мясник был жрецом Ветхого Завета, то как сам я мог не сделаться провозвестником Нового?

Горлицы

Чуть позже у меня появились горлицы – их приобрел, чтобы скрасить мне детство, мой отец, в чьей натуре было что-то от поэта и от птицелова. Ему были известны голоса и повадки всех птиц, которые у нас когда-либо жили. Моим первым поступком стало подражание нашим горлицам: слегка покачивая головой, как они, я повторял за ними все движения и их нежное любовное воркование: «Кур-ру… кур-ру…» В следующий раз я увидел и услышал что-то похожее почти полвека спустя, когда отец, незадолго до смерти, настолько отчетливо напомнил мне их, что у меня выступили слезы на глазах: точно так же, как я в детстве, он слегка покачивал своей седой головой, словно бы сейчас видел меня тогдашним младенцем – или ему казалось, что он превратился в меня, – и тихо повторял: «Кур-ру… кур-ру…»

Они жили на окне большой гостиной, свободно, под сенью пальмы, от которой почти никогда не удалялись, обычно сидя на ободке большой керамической вазы, в которой она

росла. Летом они иногда вылетали во двор, но, храня верность своему дереву и нам, неизменно возвращались. Во время званых обедов, возбужденные и встревоженные присутствием и разговорами большого количества гостей, они начинали кружиться над столом, порой садясь на карнизы или оконные рамы, но в конце концов опускались на плечи отца, который кормил их из рук. Когда все расходились, они становились полноправными хозяйками гостиной и атаковали стол в поисках чего-то съедобного, остававшегося на тарелках.

Однажды весенним днем, из-за того, что мы забыли подрезать им крылья, а дверь магазина после обеда осталась открытой, они решились на авантюру и выпорхнули наружу. Возможно, что-то их вспугнуло, и они в панике заметались над улицей. Тот переполох, который мы устроили, пытаясь вернуть их, в конце концов привел к тому, что мы их потеряли, – можно сказать, сами у себя их отняли. Сначала мы едва не поймали их на балконе у бакалейщика Ламоро, откуда они перелетели на Рыночную площадь, потом – в витрине аптекаря Малле, где они носились туда-сюда, в полном смятении. Но увы, отец на тот момент отсутствовал, а только он мог приманить их звуками своего голоса. Затем они полетели в сторону Мендигура, где он работал. Узнали ли они его, случайно пролетая мимо, или же специально отправились на его поиски, но не нашли? Так

или иначе, мы никогда их больше не видели, и без них, без их крыльев, дом надолго утратил для отца всякое очарование, словно покинутый ангелами рай – для Бога.

Кобылица

С теми же чувствами, что постаревший Беллерофонт – о Пегасе, я часто вспоминаю о кобыле моего отца – одном из тех удивительных животных, которых ласковое обхождение хозяев превращает почти в людей. Держу пари, что древние язычники поклонялись бы ей, а после ее смерти поместили бы ее изображение рядом с изображениями предков, возле семейного очага.

Внешне она была ничем не примечательна, кроме сдержанной элегантности своего наряда – она была алезанской масти, рыжая с почти незаметной светлой звездой на лбу, – изящных ног и нервных, постоянно подрагивающих ноздрей и ушей. Ее ум или сердце позволяли ей отличать нашу улицу и наш дом от всех остальных. Она кокетливо расхаживала по всему городу – совсем как человек, как юная особа, – и останавливалась без всякой команды именно там, где нужно. Часто она возвращалась с пастбища самостоятельно, в чем родилась, – ни уздечки, ни сбруи, – и если внутренний двор отцовской мясобойни был открыт, взбиралась по ступеням тротуара и крыльца, ища кого-нибудь глазами; не найдя, заходила

в магазин, потолок которого, к счастью, был достаточно высоким, и начинала беспокойно оглядываться, до тех пор, пока мой отец, растроганный такой преданностью, с блестящими от слез глазами, не приносил ей кусочек сахара, который она съедала у него из рук.

Лиза жила не в конюшне, как заурядные животные, а в неком подобии комнаты с настеленным полом, в глубине двора. Чтобы попасть туда, ей нужно было пройти по длинному коридору, и я порой слышал ее шаги сквозь сон – когда она поздно возвращалась из очередного путешествия или уходила задолго до рассвета. Порой я слышу их во сне и сейчас – но какую грусть пробуждает во мне ностальгический ритм этих памятных шагов! Почти сразу я понимаю, что сплю, что вокруг меня больше нет ничего из прежнего мира детства – ни коридора, ни комнаты, ни мясной лавки, ни отца, ни матери. Одни лишь тени окружают меня, единственного, кто еще способен их увидеть, но уже и сам подобен тени, к которой всё ближе подступает небытие.

У Лизы была своя история, свои подвиги, своя слава, свои горести, – всё это мой отец воспевал, как творцы эпоса; так, например, он часто рассказывал, как она самостоятельно довезла его домой, когда он, сидя в повозке, потерял сознание. Именно с этого дня, когда она спасла ему жизнь, он к ней особенно привязался. Позже он начал испытывать нечто вроде религиозного преклонения перед ней –

с того дня, когда во время грозы в нее ударила молния, но (он клялся в этом) не причинила ей никакого вреда. В подобных обстоятельствах другая из его лошадей была убита наповал, прямо под оглоблей, у него на глазах. Будучи спасенной таким чудесным образом, Лиза показалась ему избранницей Небес, чем-то вроде святой, имеющей право на особые привилегии, которые ее хозяин (о, какая скромность, какое смирение!) также вправе разделить, поскольку заботится о ней.

Он проявлял столько почтения к этому благородному животному, что моя мать, испытывая некоторую ревность, однажды сказала:

– Для тебя на первом месте Лиза, а уж потом я.

– Ты – моя жена, а Лиза – лошадь всей моей жизни. И если я когда-нибудь попаду в рай, мне бы хотелось, чтобы мы вдвоем въехали туда на повозке, в которую она была бы запряжена.

Однако с того момента, как у нас поселился мой дед, отец отца, эта идиллия постепенно развеялась. Старик был грубоват и однажды, поддавшись вспышке гнева, ударил лошадиное божество вилами. И хотя у божества был самый кроткий на свете нрав, оно не простило этого оскорбления величества, этого святотатства. Лиза объявила деду войну и вела ее по всем правилам. Каждый раз, завидев его, вблизи или издалека, она бросалась в бой: если он появлялся перед ней, она норовила его

укусить, если позади нее, старалась прижать его к стене и расплющить.

Что можно было сделать, чтобы не случилось непоправимого? Продать ее или забить? Отец предпочел отдать Лизу на попечение одному своему другу, жившему в деревне, чтобы всего лишь отдалить ее, но даже это решение далось ему тяжело – в глазах у него стояли

слезы. С каждой неделей, проходившей с момента их разлуки, его сон и аппетит становились всё хуже, а отношения с отцом, прежде неизменно хорошие, были навсегда испорчены.

Всякий раз, когда ему доводилось отправляться по делам в ту местность, где отныне жила Лиза, он специально делал крюк в несколько километров, чтобы ее навестить. При его приближении она начинала фыркать и ржать еще до того, как его видела, а если в это время свободно паслась на лугу, то спешила ему навстречу, обнюхивала его трепещущими ноздрями и показывала зубы, словно улыбаясь. Без всякой горечи и обид она тыкалась в него мордой, гарцевала и танцевала вокруг него. Может быть, она думала, что он приехал ее забрать? Когда отец уезжал, ее приходилось надолго запирать в стойле; с трудом сдерживая слезы, он слышал, как она ржет – она звала его. Постепенно она стала чахнуть от горя и через некоторое время умерла.

Я смутно помню тот день, когда отец узнал об этом, – в субботу, у себя в магазине. Он быстрым движением надвинул шляпу на глаза и вы-

шел. В тот день за обедом он вообще не разговаривал, а на следующий день говорил только о Лизе, теперь уже с нескрываемым благоговением, – о том, как он отныне счастлив иметь друга на Небесах, как рад, что ее страдания прекратились; это была не мрачная надгробная речь, а хвалебная песнь. Он канонизировал ее в своем сердце. «Ах, моя Лиза…» Он почти готов был признать за ней дар ясновидения, и счел дурным знаком для своего отца, что тот не сумел поладить с ней. «Она разве что не говорила, – сокрушенно произнес он. – И, конечно, она заслужила, чтобы Бог забрал ее у людей и взял к себе».

Матиналь и Кокетка

У моего отца было двое учеников, о которых он всю жизнь вспоминал гораздо чаще, чем об остальных, – Филипп Бержер и Теофиль Жюльен. И вот в мои 54 года я однажды утром получил трогательное письмо: «Позвольте представиться. Я сын того Бержера, что из Айена, – Филипп Бержер, племянник Франсуа Бержера из Бон-Куэн, что в Бонньо. Мой покойный отец, Жан Бержер, был другом вашего, который взял меня к себе в ученики. Когда я приехал к вашим родителям, вам было что-то от восьми до десяти месяцев. Роза, ваша кормилица, очень о вас заботилась. Я часто приходил с вами поиграть – вы были очень добрым и послушным. Хорошо помню вашу

лошадь и вашего пса по имени Матиналь…» И в тот же миг он словно вспрыгнул мне на колени прямо из прошлого – этот пес, так удачно названный*, о котором мне так долго никто не напоминал. Я снова почувствовал, как он тычется носом в мою ладонь и облизывает ее, а потом одним прыжком взбирается ко мне на колени, и я ощущаю на своей щеке его горячее прерывистое дыхание. Самое удивительное, он никогда не был один, хотя на этот раз его имя впервые назвали отдельно, не добавив к нему сразу же имени его подруги – Кокетки. Мои родители никогда не разделяли их в своих воспоминаниях, и эта верная пара столь чудесным образом сопровождала все радости и горести начального периода их совместной жизни, что они никогда больше не заводили собак впоследствии – словно бы из некоего почтения, почти религиозного.

Сколько раз я слышал, как отец говорил о них, словно о двух умерших людях. Когда речь заходила о Матинале и Кокетке, голос отца обретал торжественность, придававшую им достоинство – человеческое? скорее, сверхчеловеческое. Он вспоминал их красоту, их игры, их повадки, их ласки, их пристрастия, мельчайшие события, осененные их присутствием, те места в доме, где они любили отдыхать или возиться, устраивая драки понарошку, – во всех подробностях, одинаково при-

* Matinal – «тот, кто рано встает», «ранняя пташка».

ятных его уму и сердцу; но едва речь заходила о том злосчастном сентябрьском утре, когда их обоих покусал взбесившийся пастуший пес, никому не известный, прибежавший откуда-то с полей, – на лицо отца словно набегала туча, его голос становился таким серьезным, а слова, которыми он описывал свое горе так, как если бы оно обрушилось на него только вчера, – такими простыми и печальными, что мы слушали его, затаив дыхание; даже вещи вокруг нас, казалось, становились еще более безмолвными, чем обычно, чтобы лучше его слышать.

Несколько часов родители спорили, и затем еще долго колебались, не решаясь скормить собакам мясные фрикадельки с ядом, приготовленные аптекарем Малле. Наконец, матери удалось убедить отца в необходимости казни, которую решено было провести в одной отдаленной конюшне. С наступлением вечера родители, стоя у ворот и поминутно глядя в сторону рынка, ожидали, что кто-нибудь принесет им вести касательно участи обоих несчастных. Но Матиналь – как ему удалось сбежать? – явился сам: нетвердой походкой, с блуждающим взглядом, похожий на собственный призрак, – они завидели его еще издалека, с другого конца улицы. Не дойдя до них несколько шагов, подкошенный болью, он завертелся на месте, скорчился, затем вытянулся. Потом снова двинулся к ним – казалось, он

просит у них помощи. И снова упал, после чего с трудом дополз до них по тротуару, как будто силой своего желания, надежды, веры и любви смог отдалить свой конец до того момента, пока не приблизился к ним, чтобы умереть возле их ног. Смерть настигла его на пороге, и он опустил голову на священную для него ступеньку, не отрывая глаз, своих преданных глаз, от своего хозяина. Даже мертвый, он продолжал на него смотреть. Тогда мать и отец опустились на колени и долго гладили его густую шелковистую черно-белую шерсть.

Отец склонил голову и прошептал ему на ухо: «Иди, мой старый Матиналь, иди с миром. Мы всегда будем вместе. У меня никогда не было и никогда не будет других собак, кроме тебя, проживи я еще хоть сто лет! Ты – первый и последний, единственный пес в моей жизни. Я уже ничего не могу сделать для тебя, но это я тебе обещаю».

И он сдержал слово. Уже в старости, когда ему посоветовали завести хорошую сторожевую собаку, которая своим лаем отпугивала бы воров, он ответил: «А что подумает обо мне Матиналь?..» Мать добавила: «И Кокетка…» Вот уже больше сорока лет обоих животных не было на свете, но для моих родителей они по-прежнему оставались здесь, составляя им компанию, тайную и надежную, как будто по-прежнему охраняли их в этой жизни, будучи уже в другой. За такую верность нельзя было не воздать сторицей.

Механическая лошадь

Старый ученик моего отца сегодня вечером пришел ко мне в гости – и после полувекового затмения передо мной вновь осветился целый мир, полный давно забытых существ. Словно зачарованный, я наблюдал за тем, как все животные из моего детства, доселе спавшие в уголках моей души, пробуждаются – даже механическая лошадь. Рядом с ней я заметил и силуэт славного папаши Амьоля, который вез ее за собой, держа за уздечку, чтобы мне подарить. И вдруг я в одно мгновение увидел, словно кто-то отдернул занавеску на окне напротив моей колыбели, окна соседней типографии, за которыми все время горел свет и грохотали огромные машины. О, этот чудовищный концерт, первый, услышанный мною в жизни!

Месье Амьоль (о котором я так долго не вспоминал) некогда удостоился своего «часа славы» – он издавал газету под названием, кажется, «Рабочая пчела» и опубликовал несколько своих книг; экземпляр одной из них хранится у меня. Но этой славы ему не суждено было узнать – она пришла к нему на следующий день после смерти, после долгих лет слепоты и самой черной нищеты, когда местная пресса сочла своим долгом сплести ему венок хвалебных некрологов. О, насколько же мне представляется любопытным и в то же время трогательным, что «книжный человек» по какой-то прихоти судьбы ненадолго зашел

в дом моего отца-мясника, со всей полагающейся свитой жизненных катастроф и пустой славы, что включает в себя ремесло писателя, – чтобы положить к моим ногам подарок, первый в моей жизни. О, какое уважение до сих пор внушает мне это пророческое чествование со стороны моего единственного волхва, и как горячо я благословляю бывшего отцовского ученика, который вновь дал мне увидеть механическую лошадь, выйдя из тени улицы Мишеля Шаля, где он сейчас живет, чтобы приподнять завесу, скрывавшую от меня лицо Дарителя на триптихе времен моего раннего детства. Но вот я вновь слышу его голос, едва различимый, словно заглушенный множеством охвативших его чувств, поверяющий мне старые тайны: «Ах, месье Марсель, ваша матушка, в том возрасте, когда я был с ней знаком, обладала невероятным даром нравиться!» Что он хотел этим сказать? На что намекал, как бы мимоходом? Что он был в нее влюблен в те времена? Ему тогда было пятнадцать. Когда мальчик становится мужчиной, возможно, хозяйка дома, где он состоит в услужении, приобретает в его глазах особое очарование? Но что для меня несомненно – владелец типографии, со своей стороны, сделал из своего преклонения перед недосягаемой соседкой настоящий культ, искренний и преданный, благодаря чему я некогда оказался сидящим у него на коленях. Я и в самом деле припоминаю, что еще очень долгое время, полвека спустя,

стоило кому-то произнести имя Амьоля в присутствии моего отца, как его лицо тут же омрачалось ревностью, тогда как на лице матери отражалось скрытое торжество, лукавство и одновременно гордость при счастливом воспоминании о том, что когда-то она была красива и даже сейчас былая слава окружает своим ореолом и ее, и всех тех, кто некогда оказался во власти ее очарования.

Механическая лошадь, о которой шла речь, на самом деле не была механической – или же оставалась таковой лишь в нетвердой памяти бывшего ученика. Но от этого я любил ее не меньше. Это была простая деревянная лошадь на колесиках, ростом с меня, с красно-черной упряжью, верхом на которой меня запечатлели на фотографии.

Я думаю, что славный папаша Амьоль решил побаловать меня этим подарком прежде всего в знак извинения за свои типографские прессы, чей грохот всю ночь доносился до наших спален через общий двор, и отблески масляных ламп в типографском цеху, которые мешали нам спать, проникая в наши сны; однако, без сомнения, к этой заботе о честной компенсации ущерба примешивалась живущая в его сердце тайная надежда – добиться хотя бы благодарного взгляда или слова от его обожаемой Мадонны. Но, одаренный этой лошадью, я проявлял к ней едва ли не больше внимания.

Мой отец, должно быть, ненавидел ее и с огромным удовольствием выбросил, когда

под моим весом у нее сломались ноги; но поскольку любая вещь умирает медленно и никогда – полностью, разве что вместе с нами, даже деревянные лошади, то и много лет спустя, ближе к концу своей жизни, моя мать, когда я навещал ее по праздникам и шел вместе с ней на кладбище, по дороге всякий раз почтительно останавливалась возле двери с таб-

личкой «Месье Амьоль» (к нему единственному во всем городе так обращались, несмотря на его крайнюю бедность), словно пытаясь различить за стеклом склоненную голову слепого печатника, и говорила мне:

– Он как будто всё еще здесь – бедный, как Иов, и даже не может увидеть свою нищету. Иов хотя бы ее видел…

В этот момент, как правило, из тени выступала мадам Амьоль, похожая на постаревшую Золушку, махала нам рукой и улыбалась, пробуждая в нас еще больше воспоминаний о несчастном, который целыми днями упорно трудился, сидя в своем кресле, и тем не менее потерпел полный крах. Тогда моя мать, словно по заведенному раз и навсегда обычаю, произносила одни и те же слова в такт своим неторопливым шагам, словно пела старинную песню: «Помнишь, Марсель, ту замечательную деревянную лошадь, которую он тебе подарил, когда ты был маленький? Это был известный человек, он выглядел как благородный господин и был богат, и вот он впал в нищету, а мы, бедняки по сравнению с ним, – разбо-

гатели. Но ты знаешь, в память об этой лошади я каждую неделю, когда видела в окно его жену, давала ей каких-нибудь гостинцев, чаще всего – бутылку нашего доброго вина, которое он очень любил, или фруктов и овощей из нашего сада, смотря по сезону…» Я уверен, что она делала для них гораздо больше, и можно представить, какую радость чувствовал старик, сознавая, что его Провидением, среди бедствий и нищеты, стала та, кого в молодости он любил больше всех женщин, но чьего сердца не сумел взволновать. Каждый раз, получая очередное благодеяние, он распознавал в окружающей его тьме руку Мари Бланше.

Бьоннетт и Гризу

Последним животным, к которому отец сильно привязался уже на закате своих дней, была маленькая кошечка, очень красивая, с косой черной полоской, пересекающей белую мордочку, подобно бархатной повязке на глазу, рыжей спинкой и белым брюшком, как бы в накидке поверх платья. Носочки на лапках и кончик хвоста также были одного из этих трех цветов.

Она умерла еще молодой и до конца оставалась тонкой и гибкой, как юная девственница; даже будучи беременной, что случалось с нею раз в год, она ничуть не теряла своей грации. Отец любил ее последней любовью старого человека, и она платила ему взаимнос-

тью, судя по ее поступкам и манере поведения. После еды они подолгу играли друг с другом; отец разрешал ей всё, и она тоже позволяла себе многое, кроме одного – она его никогда не царапала. Что касается ее укусов, они были слабыми, почти нежными, будто в любовной игре. Надо было видеть, как они оба радовались, встречаясь по утрам, поскольку моя

мать разрешала им всё, кроме одного – спать вместе. Это был ее принцип: животным нет доступа в спальни. Она соглашалась пускать их лишь на кухню и в столовую. Но, возможно, это был лишь предлог, за которым скрывалась бессознательная ревность. Зато днем, всё то время, что отец был в доме или в саду, их просто невозможно было вообразить друг без друга: Бьоннетт постоянно вертелась вокруг отца и повсюду ходила за ним. Если он орудовал лопатой или мотыгой в саду, она сидела на ближайшем дереве; если топором или пилой в подвале, тоже оставалась рядом с ним – ее не пугали ни звуки этих инструментов, ни резкое кряхтение, с которым он рубил дрова. Когда он садился в кресло, чтобы отдохнуть или почитать, она тут же вспрыгивала ему на плечи, а оттуда спускалась на колени, и располагалась там, как у себя дома, – это было единственное место в мире, которое она выбрала для того, чтобы сворачиваться в клубок, и неизменно встречала там один и тот же прием – безопасность и тепло, исходящие от знакомой руки, самой любимой на све-

те; эта тяжелая рука гладила ее столь нежно и непринужденно, словно бы сама ее тяжесть объяснялась лишь избытком нежных чувств и обещаний, исполнение которых не заставляло долго себя ждать – отец всегда припасал для своей любимицы какое-нибудь лакомство.

Вместе с ней, никогда не уходившей далеко от дома, мои родители подкармливали одного старого кота – он, наоборот, появлялся только в час кормежки и, едва насытившись, исчезал.

Будучи весьма галантным кавалером, он ухаживал за всеми дамами в округе, за исключением Бьоннетт, которую, судя по всему, считал кем-то вроде младшей сестренки. Он относился к ней с заметным почтением, и, больше того, она занимала в его старом сердце ловеласа особое место, чему служит подтверждением история, которую я собираюсь рассказать. Это случилось в тот момент, когда Бьоннетт, недавно окотившаяся, обнаружила, что у нее забрали ее потомство, которое затем уничтожили. Было ли это решено заранее? Так или иначе, отец сам совершил это преступление, буквально рядом с ней, с ловкостью и едва ли не с нежностью, граничившими с лицемерием; не двигало ли им тайное желание сохранить свою любимую кошечку для себя одного, не делить ни с кем, даже с ее котятами, то внимание, которое она прежде уделяла только ему? Возможно, он и сам об этом не знал. Но в ней, такой ласковой с ним, возобладал материнский инстинкт. Поначалу она долго иска-

ла котят, неустанно заглядывая повсюду; затем, словно рассердившись после того, как поняла, что ее обманули, она вернулась в свою коробку и повернулась к миру спиной, полностью отдавшись своему горю. Она не только отказывалась есть и пить, но, столь чистоплотная прежде, перестала даже вылизываться; ее сумрачный взгляд, полный тоски, избегал вас…

160 Но я отвлекся: именно в тот момент, когда она полностью погрузилась в траур, произошло чудо. Она уже не была одна, она не лишилась поддержки своих сородичей. Некто посетил ее в уединении и скорби и преданно остался у ее изголовья – Гризу, которого часто называли Григу, но, конечно же, несправедливо*. Старый Гризу, который прежде не оставался в доме ни на минуту, ни днем ни ночью, – теперь выходил только ради удовлетворения своих естественных нужд. Всё остальное время он оставался возле Бьоннетт, вытянувшись рядом с ней и не сводя с нее глаз. Он охранял ее, оберегал, окружал заботой, сам занимался ее туалетом, которым она пренебрегала, – вылизывал ее, целовал, прижимался к ней как можно теснее. Он словно бы хотел заменить ей сразу всех – отца, брата и сына, или, по крайней мере, тех, кого она оплакивала, о ком сожалела, по ком остались нежные воспоминания. И это присутствие, эта предупредительность, эта постоянная забота длились

---

* Grisou – рудничный газ, метан; Grigou – скряга.

столько же, сколько и скорбь, – до тех пор, пока Бьоннетт не вернулась к прежнему, обычному для нее поведению. И тогда Гризу сразу же исчез – как будто ничего не произошло, и больше они не обращали друг на друга внимания, словно у них никогда не было ничего общего, кроме хозяев и обедов, и никакие личные отношения их не связывали – даже та (чисто человеческая) благодарность, которая всегда включает в себя элемент расчета и отмеряется скупо, словно плата нерадивому слуге. Стало быть, сострадание присуще не только людям – церемонии принесения соболезнований, со всеми положенными ритуалами, встречаются и у животных, даже у тех, кого принято считать наиболее безнравственными или бесчувственными.

Смерть Бьоннетт стала последней серьезной утратой для отца – и как бы предостережением, предчувствием, предсказанием его собственной смерти, которая не заставила себя ждать. Я все еще помню, хотя теперь могу перечитывать его только во сне, то письмо матери, в котором она рассказывала, как после исчезновения Бьоннетт и последующих нескольких дней тревожных поисков отец, этот состарившийся Геркулес, нашел ее мертвое тельце в погребе и вынес наружу. Он дрожал всем телом, и по его лицу непрерывным потоком струились слезы, застревая в жесткой, отросшей за последнее время щетине. «Ах, – говорила она, – я всегда знала, что твой отец –

чувствительный человек, но на этот раз он был просто убит. Нет, ты даже не можешь себе представить, это надо было видеть – как он шел к дому, выйдя из погреба. Я еще издалека заметила, как он поднимается по каменным ступеням и медленно идет ко мне через сад, с мертвой белой кошкой, издалека будто игрушечной, на вытянутых руках. Уже тогда он

выглядел как призрак самого себя. Мы вместе вырыли могилу под ивой. Кажется, под конец уже стемнело – он шарил вокруг себя руками по земле, как слепой. Когда мы засыпали могилу, он сразу ушел в дом, и я так и не увидела его лица. Ты же знаешь, как он боялся смерти – и своей, и тех, кого любил…»

Месяц Козы

Пытаешься вспомнить что-то из детства – и сердце отзывается, но лишь на мгновение. Когда я сравнил с Амалтеей* овцу, каким оскорблением это должно было стать для Шибрели, которая появилась из глубины воспоминаний и слегка коснулась меня изогнутым рогом, словно упрекая.

Со второго по десятый год моей жизни, с первого по тридцать первое мая, каждое утро знакомая рука приподнимала мою голову, когда я еще спал, и я одновременно открывал глаза и рот, к которому сразу же подносили боль-

* Амалтея – в античной мифологии божественная коза, вскормившая своим молоком Юпитера.

шую чашку парного молока. Я припадал к ней, почти погружаясь в нее носом, и пил густую жидкость, в которой иногда попадался жесткий волос, – избавившись от него и переведя дыхание, я снова продолжал пить, глоток за глотком, пока перед глазами у меня не оказывалась роза, нарисованная на дне чашки. Все это время я слышал, наряду с голосами соседей, собравшихся у бабушкиного порога, блеяние козы.

Это было в мае. Еще до того, как стать месяцем Марии, месяцем Майи, месяцем ландышей и незабудок, – май стал для меня Месяцем Козы.

Какой милый обычай, и как трогательно со стороны пастушки Нану и ее козы Шибрели – на протяжении десяти лет, по тридцати одному дню каждый год, не больше и не меньше, в дождь и вёдро, приходить к нам вдвоем, бок о бок, не будучи связанными никакими договорами или обязательствами, кроме личной преданности Нану – моему отцу и Шибрели – своей хозяйке, и приносить свои дары прямо на дом ребенку, которым я тогда был.

О, это воистину буколическое существование! Всей своей природной мягкостью я обязан этим рукам – грубоватой руке Жанны, проворно сжимающей и разжимающей розовые соски на козьем вымени, затем руке моей бабушки, мадам Бланше, передающей кувшин с молоком моей тете Александрине в отцов-

ской лавке, и руке самой Александрины, протягивающей мне, в моей комнате на втором этаже, чашку, наполненную божественным напитком, густым и плотным; все ритуалы этого священнодействия, этой мессы, то безмолвной, то напевной, полухристианской и полуязыческой, строго соблюдаются, чтобы навсегда оградить мое сердце от горечи. Словно прививку от ненависти, я выпиваю большими глотками воплощенную в этом молоке любовь.

Затем дом вновь возвращается к своей обычной благочестивой жизни, тетя Александрина – к чтению, бабушка – к шитью, Парду, подсобный рабочий – к хлебной печи, соседи расходятся, коза отправляется на пастбище; но с той поры и до самой смерти я буду слышать в глубине души несмолкающее *Te Deum*.

Осел Жуани

Зеленщик, склочный и неуживчивый тип, дал мое имя своему ослу, когда мне было лет десять-двенадцать, и я помню, как всякий раз, когда мой отец слышал, что кто-то говорит о Марселе, и догадывался, что речь не обо мне, а об осле семейства Жуани, – это было для него величайшим оскорблением. Однако он никогда, словно не замечая обиды, не обличал персонально того, кто, возможно, хотел уязвить нас этой нарочитой путаницей. Он ограни-

чивался тем, что, например, говорил, не упоминая никого конкретно, что не чтить обряд крещения – величайшее святотатство, а давать животному христианское имя – признак дурного вкуса.

Однако сегодня, сам не знаю почему, это смешение представляется мне, напротив, чем-то вроде священного таинства. Я чувствую радостный трепет из-за того, что этот осел когда-то носил мое имя, и не испытываю ничего кроме признательности к тому, кто хотел таким образом меня уколоть. Не знаю точно, но чувствую, что некая запретная тайна связывает меня с этим животным, которое я всегда любил, среди прочих, за его благодушный, отчасти «сказочный» облик, и уважал даже больше, чем других, – за его природное спокойствие и незлобивость, которые в моих глазах причисляли его к лику блаженных и служили мне образцом.

Мой тезка, которого я часто встречал на дороге, нагруженного овощами, фруктами и цветами, или видел резвящимся на лугу, или внезапно замечал стоящим в задумчивости, – какие прекрасные уроки терпения, мудрости, радости ты мне давал!

И поскольку я никогда не чувствовал унижения, отзываясь на то же имя, что и ты, точно так же как и ты не испытывал никакой особой гордости за то, что носишь одно имя со мной, как знать, может быть, в Судный День, когда Господь позовет: «Марсель!» – не воскреснем ли

мы оба одновременно? Поистине, твоя причастность к моему крещению станет благодеянием для нас обоих, коль скоро ты будешь обязан мне раем – куда я, без сомнения, въеду верхом на тебе.

МИНОС И Я,
или КОШАЧЬИ ЗАПИСКИ

I

Вот он, возлежит на огромной диванной подушке, почти утопая в ней, – видны только его глаза с расширенными зрачками, которые пристально смотрят на меня. Время от времени я провожу над ним рукой, не касаясь его. Если бы я его погладил, это выглядело бы непростительной грубостью! Я бы его потревожил. А он так хорошо устроился – бархатный на бархате. Но простое приближение моей руки, кажется, доставляет ему удовольствие. Ему приятно, что я беру на себя заботу уведомлять его о том, что не забываю о его присутствии, и он это ценит. Ему нравится, что его присутствие мне небезразлично в той же степени, что и ему – мое, хотя он предпочитает, чтобы я занимался другими вещами, не им. Он недоволен, когда видит меня праздным: праздность – это его удел. Но когда я иду ему навстречу, он платит мне тем же: вытягивает вперед лапку и слегка касается меня – небрежным, почти рассеянным движением. Одновременно он закрывает глаза, возможно, для то-

го, чтобы не видеть себя отвечающим на мои авансы, или для того, чтобы в глубине души без помех наслаждаться этой игрой, нашими обоюдными маневрами, нашим взаимным кокетством, своим тайным сообщничеством.

Эти ритуалы он воспринимает тем благосклоннее, чем больше в них сдержанности, скрытности. Ни один кот не проявлял больше

расположения к тому, кто догадывается о причинах его напускной отстраненности и относится к ней с почтением. И только после того как эта негласная договоренность установлена, он окончательно вступает с вами в союз, убедившись, что никто не завладеет им против его воли.

История наших отношений с Миносом началась с того момента, как я погладил его при первой встрече, в июльский субботний день. Я сразу же почувствовал, что он воспринял этот жест как знак серьезности моих намерений и теперь не покинет меня до самой смерти. Я его завоевал.

Именно потому, что моя рука чем-то отличалась для него от всех остальных, он и выбрал меня своим хозяином. В свои восемь месяцев он был диким и добывал пропитание охотой в соседнем лесу. Меня, в свою очередь, тоже чем-то привлек его взгляд, и я наклонился, чтобы погладить его, а он растянулся передо мной во всю длину, словно покоряясь – и тогда я решил взять его к себе. С тех пор мы оба словно соревнуемся в тактичности и деликат-

ности по отношению друг к другу, постоянно обмениваясь любезностями, дружескими уступками и привилегиями, всё больше укрепляющими нашу близость, в которой, однако, нет никакой фамильярности.

Мы никогда не расстаемся. Я постоянно ощущаю его присутствие на идеально выверенном расстоянии: достаточно близко, чтобы я не сомневался в его преданности, и достаточно далеко, чтобы она меня не тяготила. Ему одинаково несвойственны ни излишняя отстраненность, ни излишняя навязчивость по отношению к его хозяину – да и хозяину ли? скорее, другу. Сколь искусно мы всегда соблюдаем меру в нашем общении! Еще ни один человек, дорогой мой Минос, не проявлял такого умения добиваться моей благосклонности, как ты. Какая гармония мгновенно воцаряется между нами даже при беглом обмене взглядами – всегда одновременными, спонтанными! Конечно, мы не копируем друг друга, но наши немые диалоги полны самых необычных совпадений. Уже давно для нас нет и речи о власти и подчинении, о просьбах или приказах: между нами установилось прочное и постоянное взаимопонимание, хотя точнее было бы сказать – взаимоугадывание. Ты отвечаешь на мой тайный призыв, прозревая его с невероятной точностью, до мельчайших деталей, но ведь и я распознаю малейшие оттенки твоих капризов, твоих притязаний, ожиданий, намерений – как самых утонченных, так и самых

страстных. Я пробегаю всю гамму твоих настроений, не упуская ни одной нотки твоей гордости, твоей жестокости, твоей нежности; я ничем не пренебрегаю, ничего не презираю и не отвергаю в тебе. Я ко всему отношусь с почтением.

Например, Минос не любит, если я нахожусь слишком близко к нему, особенно когда
170 светло: достаточно, если он просто не теряет меня из вида, когда не спит, или обнаруживает меня поблизости, когда проснется, – если ему случится задремать. Лишь бы он постоянно наблюдал за мной, выбрав для этого удобное место. Только с наступлением сумерек он предпочитает более тесное сближение, и каждый раз, когда мне случается пошевелиться, он, даже не давая себе труд открыть глаза, тихим вкрадчивым голоском мурлычет мне любовную песнь, и эта в буквальном смысле слепая преданность невероятно меня трогает.

После обеда я оставляю его в саду и поднимаюсь в свой кабинет, чтобы растянуться на паркете; но проходит совсем немного времени – и вот он уже что-то шепчет мне на ухо: он сам присоединяется ко мне, предупредив мою собственную заботу. Когда я открываю глаза, он, прислонив голову к моему колену, встречается со мной взглядом.

Если он не сразу замечает, как я вхожу в кабинет, а затем, не спросив его позволения, располагаюсь за столом, Минос одним прыжком возносится на стол и направляет-

ся прямо ко мне, чтобы коснуться моего носа своим холодным носиком, – и тут же обращается в бегство, словно напуганный собственной дерзостью. Может быть, это его манера целоваться?

Ночью он всегда спит в изножье нашей кровати, и порой, всякий раз около трех часов ночи, словно пробуждаемый в одно и то же время нежностью ко мне, он бесшумно проскальзывает вдоль моего тела к правому или левому плечу и на мгновение утыкается прохладной бархатистой мордочкой мне в щеку, а затем пару раз проводит горячим шершавым язычком по лицу. Закончив эту церемонию, совершаемую всегда в сумерках, словно в честь Ночи, он столь же неслышно возвращается на свое место и снова засыпает, как ни в чем не бывало.

Этой ночью я вдруг почувствовал сквозь сон, как мне в подбородок словно впиваются тонкие иголочки, пронзая, но не раздирая кожу. Я в испуге поднес руку к лицу. Конечно, это был Минос, который решил поиграть со мной, притворяясь, что нападает и кусает – возможно, он решил разбудить меня, оттого, что заскучал в одиночестве, темноте и слишком долгой тишине, или просто решил поразвлечься, воспользовавшись моим сном, чтобы устроить игру в хищника, или выражал мне таким образом несколько преувеличенное, даже ироническое почтение.

Моя рука оказалась рядом с ним, когда он спит? Он настолько уверен в том, что это я,

что даже не изволит просыпаться; дрожь наслаждения мимолетно пробегает вдоль его хребта, он потягивается, и его лапка продвигается вперед, пока не наткнется, как бы случайно, на один из моих пальцев, который он захватывает, выпустив когти. Затем с той же притворной небрежностью он завладевает моим запястьем – и вот я уже полностью его

пленник: в поисках тепла он укрывает голову, похожую на пушистый замерзший клубок, между моих ладоней. Теперь, если я захочу отстраниться, его нежность сменится жестокостью: его когти одновременно выдвинутся из своих ножен и, словно зубья миниатюрного капкана, мгновенно сомкнутся на моей руке. Я в ловушке.

Нет, ни одного домашнего питомца я не любил так, как этого, – за особое выражение, появляющееся в его глазах всякий раз, когда он встречается со мной взглядом. Миносу известны все утонченные оттенки чувств, даже легкая застенчивость в проявлении своей любви ко мне, которую он скрывает и от меня, и от себя, даря мне свои ласки как бы украдкой, и прежде всего втайне от себя самого – как бы смущаясь своей привязанности.

II

Летний отдых. Каждое утро мы проводим в саду, Минос у моих ног, какое блаженство! Он не расстается со мной ни днем ни ночью; он

не отрывает от меня глаз, будто я – Солнце, а он – планета, что вращается вокруг меня. Если я перехожу с места на место, он следует за мной, всегда без лишней спешки или медлительности. Если я поднимаю глаза, то всякий раз первым делом вижу его – не настолько близко, чтобы это мне мешало, и не настолько далеко, чтобы я почувствовал себя покинутым, не в укрытии и не слишком на виду, чтобы сначала я немного поискал его глазами и почти сразу же увидел его изящную мордочку почти рядом с собой.

Когда меня нет дома, Минос не находит себе места. «Без вас ему везде плохо», – говорит Марселла. Но стоит мне вернуться, его тревога сразу прекращается. Он ждет, пока я где-то расположусь, и выбирает себе место в соответствии с этим – так, чтобы можно было меня видеть, хотя бы издалека, после чего устраивается и с комфортом располагается на нем. Держу пари, в этот момент он абсолютно счастлив.

Если я растягиваюсь на траве, не обращая на него внимания, он начинает проделывать акробатические трюки: взбирается на иву, повисает на сухой ветке, затевает еще какие-то маневры – и всё это для того, чтобы привлечь мое внимание, хотя на первый взгляд кажется, что оно его совершенно не заботит.

В представлении Миноса он имеет такое большое значение для меня, что является не-

ким сюрпризом, неожиданным и удивительным подарком, самым лучшим, какой я только мог получить. И вот, когда ему случается лишить меня своего общества на достаточно долгое время, он, уверенный в том, что доставит мне величайшую радость своим возвращением, обставляет его всевозможной таинственностью: точно рассчитав предстоящий

эффект, он входит, крадучись, прячась по пути то здесь, то там, затем неожиданно выныривает с противоположной стороны стола и на несколько секунд неподвижно застывает на паркете, затаив дыхание, почти не дыша, слегка согнув напряженные лапы и готовясь к прыжку – и вот, в один миг описав в воздухе великолепную дугу, обрушивается на мои бумаги, которые с шумом разлетаются, и оказывается прямо передо мной – лицом к лицу, глаза в глаза, носом к носу. Прежде чем я успеваю что-то сделать, он уже сворачивается у меня на коленях. Я беру его за лапку и долго держу ее в своей руке, как это делают влюбленные.

Раньше ему было достаточно границ нашего дома и сада. Он всегда провожал меня до калитки, выходящей в проулок, но я чувствовал, что здесь ему уже слегка не по себе. Теперь, когда я ухожу, приходится его запирать, из опасения, что он, из дружеских побуждений проследовав за мной слишком далеко, не найдет обратного пути в свою обитель счастья.

Но стоит мне вновь появиться в противоположном конце улицы, он выбегает мне навстречу с ликующим видом. Среди всех прохожих, спешащих туда-сюда, он ждет именно меня, дремля где-нибудь по соседству в тени садовых зарослей, и, еще до того как увидит, по какому-то непонятному признаку – может быть, по звуку шагов? – он меня узнает. И вот он торжественно следует за мной к калитке. Если ему не хочется сразу возвращаться в дом, поскольку он все еще увлечен игрой в прятки, он все равно из почтения выходит мне навстречу, чтобы поприветствовать и сопроводить до границы наших владений. Кроме того, ему хочется знать, куда я направлюсь и чем займусь, оказавшись внутри ограды. Сколь приятно сознавать, что тебя отличают среди тысячи других, не оставляют тебя своим вниманием день и ночь. В чем причина этой слабости? Чего в ней больше – гордости за то, что тебя связывает с этим тайным, словно бы несуществующим, и в то же время преданным другом некая невидимая нить, или же растроганности из-за того, что он, в силу своей привязанности ко мне, стал в большей степени моим хозяином, чем я – его: восхищаешься тем преклонением, которое сам же вызываешь. Если животное, обычно столь коварное и недоверчивое по отношению к кому бы то ни было, столь независимое, свободное, ускользающее – словом, до такой степени «личность» – позволяет вам к нему приближаться, касаться его, пере-

мещать, как вещь, как неодушевленный предмет, без малейшего опасения, без всякой подозрительности, даже без недовольства – нет сомнения, что это исключительная поблажка с его стороны, больше напоминающая привилегию или высшую милость.

Если мне случается опуститься на колени, Ми-
176 нос тут же устраивается на моих икрах, норовя проникнуть в грот, который образуют полы моего халата – он просовывает лапу, голову и верхнюю часть спины под одну из них, а потом двумя-тремя движениями быстро ввинчивается внутрь, словно отвертка. Но увы – едва он расположился внутри со всеми удобствами, я поднимаюсь. Однако он не отступает сразу и еще какое-то время следует за мной, надеясь, что в ходе каких-то очередных своих занятий я снова предоставлю ему возможность разместиться где-нибудь на мне, который по сути и есть его дом.

III

Мари, самая юная из моих племянниц, которой всего шесть лет, однажды мне сказала: «Дядя, твой кот никогда не смеется». Это было точно подмечено. Даже когда животное радуется, оно радуется с серьезным видом – но кошки вдвое серьезнее, чем кто-либо еще, а Минос – особенно серьезно. Величественность, словно покров, облекает его, сопро-

вождая повсюду; она несовместима ни с малейшей веселостью. Мой смех приводит его в особенно сильное замешательство – возможно, оттого, что в этом есть что-то запретное для него, и именно в этой ситуации он узнает, что между нами пролегает некая граница, о которой он раньше даже не подозревал и которую не в состоянии преодолеть, поскольку она установлена самой природой. По сути, с этого момента он уподобляется человеку и начинает тяготиться обществом себе подобных – большую часть времени он проводит со мной.

Помимо той почтительности, что он усвоил по отношению ко мне, ему свойственно и врожденное благородство манер. Помню, как мы удивились, застав его однажды (и постоянно с тех пор, хотя мы никогда его к этому не приучали) сидящим на стульчаке в уборной: вытаращив глаза и задрав хвост, при этом серьезный как понтифик и оттого еще более забавный, Минос на человеческий манер занимался отправлением естественных нужд – иными словами, той функции, которая для всех кошек на свете является великим, торжественным, едва ли не священным обрядом, как для китайцев. Что же он сделает завтра – потянет за цепочку? Оставалась лишь одна загвоздка, мешающая в точности исполнить этот тысячелетний ритуал, предписанный семейству кошачьих: когда он повернулся и махнул

лапкой, собираясь, как водится, зарыть плоды своих трудов, это оказалось невозможно. Однако, движимый древним инстинктом, унаследованным от предков, он остановился перед троном, с которого только что спустился, и закружился на месте, словно танцуя, при этом совершая чисто символические жесты, всю тщету которых, наряду с их необходимостью, он, казалось, и сам осознает – настолько его замешательство было очевидно. И в то же время как было уклониться от этой ритуальной вежливости, незыблемые правила которой были установлены много веков назад? Возможно, такое противоречие в сознании породило новую странную привычку: если нам случается угостить его каким-то блюдом, которое приходится ему не по вкусу, Минос, чтобы продемонстрировать нам свое отвращение, делает вид, что зарывает наши негодные дары, как его собратья зарывают свои экскременты. Иными словами, знак вежливости превращается (этого следовало ожидать) в прямое оскорбление.

Элиза называет его гермафродитом за его элегантность и подростковую стройность, а наш ветеринар отказывается верить, что за два года он так ни разу и не ушел из дома на ночь в поисках любви.

Минос живет в настолько тесной близости со мной, что из-за этого, кажется, порой забывает о всякой «разнице» между нами – не только о велениях природы, но и о своей кошачьей сущности, о нашем видовом различии. О, этот

миметизм животных! Даже не сознавая, что он мне подражает, что он копирует своего хозяина, – Минос иногда ведет себя настолько в моем стиле, и его манеры настолько близки к человеческим, что мне случается невольно спрашивать себя: «Это и вправду всего лишь кот?» Например, вечером, засыпая, он сворачивается в клубок, как это принято у кошек, но постепенно начинает распрямляться, и в конце концов его голова оказывается на подушке, задние лапы – вытянутыми, а передние – сложенными вместе, как руки на молитве. Я наблюдаю за ним перед сном: сначала он лежит у меня в ногах, свернувшись, но среди ночи я внезапно обнаруживаю его вытянувшимся рядом со мной, в точности повторяющим очертания моего собственного тела – будто слепок с меня, моя уменьшенная копия. Может быть, что-то от моей манеры обхождения с ним повлияло на него, распахнуло перед ним горизонты более широкие, чем те, что обычно открываются животным? Может быть, из-за того, что я обращался с ним, как с себе подобным, я смог приблизить его к себе и каким-то образом ввести в круг существ более развитых, чье сознание ближе человеческому? Но здесь, конечно, неизлечимый антропоморфизм мешает мне до конца понять, в чем дело. Кто знает, возможно и он, по каким-то неведомым мне признакам, чувствует, что я, благодаря долгой жизни бок о бок с ним, приобрел что-то кошачье? И разве есть лучший способ запол-

нить ту бездну, что нас разделяет, и приблизиться друг к другу?

Когда ему грозит опасность, он, прежде столь отважный, больше не считает нужным защищаться и ограничивается лишь тем, что начинает издавать резкие крики, напоминающие павлиньи, будучи уверен в том, что я примчусь ему на помощь, как бы далеко от него ни находился. Разумеется, я отнюдь не собирался сделать из него труса. Я хотел лишь установить такое доверие между нами, чтобы он мог позволить себе всё, не ожидая от меня никакого зла, только добро. Очарование столь совершенной дружбы и та всеохватывающая любовь, которую я к нему питаю и сам он всячески дает мне понять, что замечает и ценит, привели к тому, что он не соблаговоляет проявлять храбрость. Он ни на минуту не сомневается в том, что я успешно защищу его от любого врага – даже от смерти. И я действительно думаю, что его отчаянный крик о помощи способен воскресить меня из мертвых и поспешить ему на выручку – пусть даже и не представляю себе, каким чудом это произойдет.

IV

Проявляя неизменное любопытство к всевозможным машинам и механизмам, Минос всегда проскальзывает следом за мной в ван-

ную комнату, стоит мне лишь открыть дверь, и, словно обуреваемый жаждой, забирается в пустую ванну и неотрывно смотрит на кран. Он ждет, что я совершу чудо: едва коснусь крана, и оттуда сразу же польется вода, звонко ударяясь о дно. Какая загадка для него – все эти механизмы и их послушность, какой контраст с его собственным независимым поведением! Вода начинает течь, повинуясь моей воле, и он, слегка отпрянув от удивления, смотрит то на меня, то на кран, гораздо больше озабоченный тем, чтобы понять причинно-следственную связь происходящего, чем напиться.

Вчера ночью, проснувшись и отчаявшись снова заснуть, я взялся за чтение. Перед этим я принял сотню предосторожностей, чтобы не беспокоить Миноса, но свет моей лампы всё равно мешал ему спать. Тогда я решил завесить ее – и вот, словно в благодарность за эту заботу, он протянул ко мне из вновь обретенной умиротворяющей тени свою лапку и осторожно коснулся ею моей освещенной руки, а затем провел ею вдоль моего плеча к лицу и слегка погладил щеку. Этот дружеский жест был столь красноречив, что я был растроган до слез. На мгновение он приоткрыл глаза и обратил ко мне взгляд, полный признательности, после чего снова смежил веки с довольно-усталым видом, как тот, кто засыпает с чувством исполненного долга.

Вчера я принимал ванну, позабыв о нем, и вот он заметил мою голову, поднимающуюся над водой. Поскольку он не привык надолго удаляться от моих рук и коленей, когда я дома, – Минос пожелал ко мне присоединиться. Он бесстрашно вспрыгнул на скользкий бортик ванной и заглянул внутрь. Поднимающийся от воды пар не сулил ему ничего хорошего.

Опасаясь неизвестности, он не бросился вперед сразу, решив сначала убедиться, что перед ним не лежит препятствие, например, стекло, а также – что ему не грозит опасность обжечься. Слегка наклонившись вперед, он погрузил лапку в это густое облако и, коснувшись воды, сразу же отдернул, окропив меня, как на мессе, после чего в панике удрал и начал тереться о мою купальную простыню, чтобы скорее высохнуть.

Он вьется вокруг принесенного мною свертка, явно пытаясь угадать: печень или легкое?

Но это деревянное скульптурное изображение Святой Троицы XVI века.

Минос обнюхивает Сына, пристально смотрит на Отца, трогает лапкой Святого Духа – и опрокидывает всю композицию.

Куриная кость заинтересовала бы его гораздо сильнее.

Тем не менее, он возвращается. Этот священный предмет интересует его, притягивает, не дает покоя, интригует, удерживает его внимание. Минос рассматривает изображе-

ние вблизи, с явной симпатией. Это из-за голубя?

Создается впечатление, что он пытается копировать неподвижность, молчание, величие Предвечного, что он как бы отражает Его образ с противоположной стороны комода, и, конечно, понимает, так же как и мы, что имеет дело с величайшей тайной, – но, подобно нам, не ощущает себя полностью чуждым замыслу и воле Творца.

V

Сегодня я непрерывно работаю с самого утра, и в конце концов Миноса это задевает. Он появляется из своего угла и мало-помалу заполняет собой пространство раскрытой передо мною книги, мешая читать и вынуждая уделить ему внимание, вспомнить о его маленькой персоне.

Но вот в ветвях ивы запела птица, и Минос оставляет меня ради нее. Глядя на вожделенную добычу, он тоже подает голос – буквально разговаривает с ней, в точности как святой Франциск! Я вижу его профиль и один глаз – прекрасный хрустальный шар, кажущийся прозрачным, просвечивающим, бесцветным, но если я слегка наклоняюсь и рассматриваю его спереди, то вижу перед собой словно бы окаймленное темной полоской леса изумрудно-зеленое озеро, на поверхности которого дрожат золотистые и фиолето-

вые блики, а в глубинах таится смертельная угроза.

Солнце так сильно припекает одну из стен нашего дома, что кроны растущих поблизости деревьев желтеют и увядают, и, когда смотришь на преждевременно опадающие широкие желтые листья лип и кленов, кажется, что вместо августа за окном ноябрь. Минос издалека принимает эти листья за птиц и огромными прыжками преследует их, словно летя вместе с ними и иногда хватая их передними лапами, – но, удивленный их неожиданной легкостью, он выпускает их и возвращается без добычи, с разочарованным видом, а потом начинает преследовать их тени, которые кажутся ему более реальными.

Скоро ли он откажется от своих заблуждений? Нет, это сильнее его. Всё, что движется, его возбуждает, заставляя, как минимум, сорваться с места.

Я порой подражаю трелям дрозда, складывая губы особым образом. Самые резкие и высокие ноты производят на Миноса необычное, сладострастное воздействие: он тотчас же опрокидывается на спину, выгибается дугой, касаясь земли только крестцом и затылком, и млеет, слегка перекатываясь из стороны в сторону. На пике наслаждения его когти устремляются в небо, а пасть словно растягивается в улыбке, обнажая клыки.

Если же мои модуляции, напротив, становятся тихими и томными, скорее похожими на ночные трели соловья, Минос понемногу успокаивается, расслабляется, переходя от похоти к нежности, и иногда мне кажется, что я замечаю, как при особенно трогательных, волнующих созвучиях в его хрустальном глазу блестит слеза.

Когда я сажусь за пианино или фисгармонию, Минос, как истинный меломан, тут же возникает поблизости и всё то время, что длится концерт, слушает в глубочайшей сосредоточенности, не отвлекаясь ни на что постороннее – не было случая, чтобы он хоть на миг повернулся спиной к инструменту. Словно в глубочайшем почтении, он закрывает глаза и обращает всё свое внимание к мелодии с самой первой ноты.

Минос боится своей добычи, которая его искушает: он так хочет быть жестоким, что избегает смотреть на птичью клетку, которая его притягивает. Он как бы прячет ее от себя, старается о ней забыть, но птичий щебет напоминает ему о том, что она существует, и как бы он ни старался отойти подальше, отвернуться, закрыть глаза, – со своим слухом он уже ничего не может поделать. Теперь уже он боится себя, и от себя смутно ждет самого худшего – он становится печален, словно его заставляют отказаться от инстинкта, который завладевает им против его воли.

Я наблюдаю за ним, и готов держать пари, что этот любитель птиц хочет поохотиться на них не для того, чтобы их съесть, а для того, чтобы поближе изучить. Их пение – вот что больше всего его занимает.

Когда мне случается запеть, он, подбираясь к моему лицу, словно выслеживает мелодию, готовую вот-вот вылететь у меня изо рта, и держит когти наготове, чтобы ее схватить.

И как ему не пожелать стать участником этой птичьей феерии, поиграть с мелодиями, которые можно потрогать, у которых есть тело, есть крылья? Особенно его привлекают крылья – этот небесный, ангельский механизм, столь быстрый, изящный, подвижный и при этом непонятный, единственный во всем мире быстрее него самого и к тому же разноцветный!

Увы!

Оставленный в кабинете наедине с попугайчиками в клетке, Минос ухитрился вытащить самого красивого, небесно-голубого, и своими клыками нанес ему удар точно в сердце – две крохотные кровавые звездочки остались на светлом нагрудном оперении. Как было не прийти в ярость, причинившую мне еще больше боли, чем ему! И вот теперь мы избегаем смотреть друг на друга.

Вторая пара попугайчиков, оставшаяся невредимой, пытается утешить вдову: они все-

гда держатся рядом, сопровождают ее повсюду, согревают с двух сторон, когда она дрожит, приглаживают ей перышки и целуют, нежно сжимая ее головку двумя своими – делают всё, чтобы поддержать ее и хоть немного возместить утрату.

Отныне я друг убийцы – и теперь, когда он почувствовал, как всё изменилось, поскольку он раскрыл свою сущность и, соответственно, мою, он пребывает в некотором замешательстве и, возможно, даже ощущает стыд, который осложняет, искажает былую простоту наших отношений. Уже ни он не чувствует себя способным на любое самоограничение ради меня, ни я не нахожу в себе прежней к нему снисходительности. Он познал муки совести, я – муки упреков. Мы больше не в раю.

Страдая от приступов меланхолии или же вдруг пристрастившись к одиночеству, Минос забивается в глубину шкафа, на полках которого я обычно раскладываю свои рукописи, – так далеко, что его невозможно ни увидеть, ни достать, и сидит там в полутьме, абсолютно неподвижно, недосягаемый, невидимый и глухой даже к моим призывам, – и так долго, что можно подумать, будто он умер.

При желании я бы мог закрыть дверцу; но нет, он прекрасно знает, что я помню о его убежище и позабочусь о том, чтобы оно не стало для него ни темницей, ни могилой.

VI

Сегодня разыгралась драма.

Минос отказался от угощения, которое мы, у него на глазах, разделили между бездомными кошками.

Может быть, он выказал ревность и начал оспаривать у этих несчастных то, чем сам недавно пренебрег? Нет.

Когда он увидел издалека их пир, он приблизился, растянулся на траве и начал следить за происходящим с видом любопытного, хотя и слегка пресыщенного зрителя. Поза его была по-королевски величественной и одновременно снисходительной, во взгляде проскальзывало благодушное одобрение, как если бы он разделял счастье этих бедняков, которое сам же им и даровал.

И вот, когда трапеза была окончена, он, чтобы себя вознаградить, решил поиграть с гостями. Но они, хмурые и осторожные, решив, что он замыслил какую-то месть, поспешили удалиться.

О, эта неблагодарность черни! Минос – высшее существо из горнего мира; и в этом мире он пребывает один.

Отплытие из Пор-Кро.

Я благодарю Бога за это море и за этого кота, за эту изящную головку, что он прячет под моей рукой, стараясь не смотреть на воду, которая его ужасает. Какое отчаяние, какое ощущение заброшенности исходят от этого цепляющего-

ся за меня крошечного сгустка жизни! О, это благотворное тепло, столь близкое!

Мне кажется, что Бог любит меня почти так же, как я люблю своего кота, и что я люблю Бога почти так же, как мой кот любит меня.

Я тоже скрываю от самого себя ту нежность, которую к Нему проявляю, и хотел бы скрыть ее даже от Него. Он дарует мне убежище – в Себе Самом, – где я скрываюсь, отводя глаза от пугающей бездны; сгиб Его ладони, куда я опускаю голову, – это рай. Большего я не прошу. Это и есть суть веры.

Минос и Мидас

Я сорвал славный кустик салата и, чтобы немного освежить его, положил в садовый фонтанчик. Мидас, наш белый кролик, смотрит на него снизу, но не может достать.

И тут появляется Минос Черный. Догадался ли он, в чем дело? Так или иначе, он взобрался на окно, возле которого стоит фонтанчик, и ловко столкнул салат, на который кролик тут же набросился.

«Бедный Мидас! – казалось, думает Минос, – что за удовольствие есть такую гадость?» Но ему хватает такта не слишком воображать о себе из-за того счастья, которое он даровал другому.

Чуть позже Минос, как восточный паша, с блаженным видом растягивается на солнце.

Кролик Мидас тайком подбирается к нему и тычется носом ему в живот.

Такого рода фамильярности – лучший способ вывести Миноса из себя. Он мгновенно вскакивает и отвешивает невеже три оплеухи одну за другой. Но тут же следует симметричный ответ: Мидас разворачивается, оставляет прямо под носом у паши три катышка помета и тут же удирает.

Минос взял под покровительство Ослика, питомца Полетты Д., и весь день учит его спускаться по садовой стене семейства Жосс. Это выглядит так: они оба, вплотную друг к другу, пятятся задом по гребню стены, вплоть до того места, где она становится уровнем ниже, образуя нечто вроде ступеньки. Там Минос искусно маскирует собой бездну и первым бросается в нее, подавая пример, – но Ослик боится делать это самостоятельно и, прыгнув ему на спину, приземляется вместе с ним.

Ах да, кто такой Ослик? это тоже котик, совсем юный, кастрированный, получивший свое имя из-за ушей – они у него длиннее, чем вся остальная часть головы.

Впервые Минос в отлучке уже два дня. Все соседские коты, которые ежедневно заходят к нам в сад его проведать, не приближаясь к дому, куда им вход воспрещен, – сегодня пришли справиться о нем. Явно обеспокоенные, они долгое время в нерешительности стояли

у двери, потом один сунул туда нос, второй – голову, а третий наконец-то осмелился войти внутрь и подняться по лестнице. И вот уже они все сидят на лестничной площадке второго этажа, откуда просматривается вход в кухню. У всех в глазах читается одни и тот же немой вопрос.

Ах, этот Минос – оригинал, чье сумасбродство их забавляет, и аристократ, чей благородный нрав внушает им почтение. Если вдруг он не вернется, все коты и кошки Порт-Майо умрут от горя.

VII

Сегодня утром Минос не появился, а поскольку его не было на ужине и вчера вечером, я забеспокоился. Выйдя в сад, я начал звать его. Наконец он высунул голову из зарослей плюща, венчающих садовую стену, и оттуда, с высоты, посмотрел на меня и заговорил со мной. Я подумал, что он сейчас спустится, – но нет. Чуть позже я заметил, что он был не один. Какая-то кошка привлекла и удерживала всё его внимание. Однако – удивительная вежливость! – он всё же показался, он ответил мне, и в его голосе явно звучало извинение – он словно говорил: «Я вернусь чуть позже».

Тем не менее, я всё же испытал (я не шучу) легкий укол ревности.

Вчера вечером, выйдя на прогулку, мы заметили рядом с водосточным желобом, тяну-

щимся вдоль улицы, черного кота, съежившегося, словно от страха. Был ли это он? Ни по каким признакам нельзя было сразу это определить: уши его были прижаты, глаза полузакрыты, хвост подвернут под передние лапы. Я приблизился, заговорил с ним. Он не убежал. Я коснулся его – и вот тогда наконец его узнал, по его доверию. Но его глаза оставались

полузакрытыми, словно он надеялся таким образом избежать моего пристального осмотра, и к тому же он молчал. Когда я оставил его в покое, он снова повернулся к водосточному желобу, абсолютно сухому и пыльному, – словно кающийся грешник. Такое поведение, возможно, объяснялось тем, что он думал, будто мы уже в курсе его последнего проступка: приглашенный в гости Полеттой, чтобы разделить с Осликом остатки курицы, он не удержался и съел еще кусок масла, по недосмотру оставленный на кухонном столе, после чего его долго тошнило.

Вскоре на него обрушилось новое несчастье. Прошлой ночью, когда он обследовал соседский гараж, два фокс-хаунда загнали его вглубь тесного отсека, откуда он не мог убежать, и ему пришлось укрыться, свернувшись вокруг ступицы автомобильного колеса. Ему повезло, что пространство, отделявшее его от стены, было очень узким, и преследователи не могли туда добраться. Но долго оставаться в таком положении было очень неудобно. Спасло его только вмешательство владельца

гаража – они с женой, к счастью, любили животных и освободили его. Однако этим утром, открыв входную дверь, я обнаружил его озябшим, дрожащим и изменившимся до неузнаваемости – у прежнего красавца Миноса были ободраны уши, сломаны или выдраны когти, и в довершение всего он то ли угодил в лужу машинного масла, то ли перепачкался в смазке колеса – но вся его шерсть была грязной, слипшейся, и от нее шел ужасный запах. Ощущение было такое, что с него содрали шкуру заживо! Элиза тут же прибежала с флаконом эфира и принялась его очищать, но запах еще долго оставался и повсюду сопровождал его. Из глубин этой невидимой тошнотворной темницы Минос смотрел на нас своими прежними глазами – только они не пострадали, и сейчас, казалось, были еще более яркими и живыми, еще более человеческими, чем прежде, из-за сквозившей в них невероятной тоски. Я прижимал его к себе, не боясь закашляться или перепачкаться, и он снова прятал голову под моей ладонью, как во время путешествия по морю, но теперь отворачиваясь не от воды, а от своего несчастья.

И вот – новая беда. Вчера вечером, вскоре после девяти, прибежал наш слуга Андре, в страшном возбуждении:

– Месье, из нашего сада недавно выходила старуха-тряпичница, и мне сначала показалось, что она несет в своем мешке какое-то барахло, а потом я присмотрелся и увидел, что мешок

шевелится. Я побежал за ней и заставил ее вытряхнуть мешок. И хорошо, что я это сделал! Это был Минос, это его она утащила!

Элиза тут же решила спрятать Миноса подальше, чтобы он снова не угодил в лапы этой старой ведьмы, а Андре за свои труды получил в награду зайца.

С тех пор Минос превратился в мизантропа – он почти не покидает убежища, которое я называю его персональным чердаком: над дверью моего кабинета расположена застекленная ниша – нечто вроде окна, выходящего на лестничную площадку, – и вот там, позади томов Лярусса, стоит широкая позолоченная картинная рама сантиметров в пять толщиной, как раз подходящая под его размеры. Она долго пустовала, но теперь Минос нашел ей применение: в ней он обычно и лежит, но, когда его тоска становится особенно невыносимой и ему хочется спрятаться еще дальше, он поднимается еще выше, к горизонтальной планке оконного переплета. Сквозь прозрачное стекло он даже в полусне может наблюдать за всем, что происходит на лестнице – любое примечательное событие, как правило, связано с перемещениями обитателей дома с этажа на этаж. Особенно его интересуют новости из кухни, поскольку они затрагивают его напрямую. Он следит за всеми этапами приготовления еды, и, когда стол накрыт, он узнает об этом первым.

Порой мы замечаем его на садовой стене семейства Жосс, густо увитой зеленью. Элиза

считает, что его затворничество добровольно, потому что, после того как она однажды посмела почистить его, словно какой-то предмет мебели, своей электрической щеткой, он оскорбился до глубины души.

Что до меня, я опасаюсь худшего: злая ведьма, от которой он однажды ускользнул, в этот раз все-таки настигла его. Вот уже неделю он не появляется. Мне постоянно кажется, что я слышу его голос, словно он призывает меня в свой последний час.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПЕТУХА

196

Доменику Арлану,
который однажды в воскресенье
приобрел Фифио
во время посещения Бренвилля
вместе с нами

Дорогой Жан,

наша жизнь перестала быть прежней, с тех пор как у нас появился ребенок. Ему исполнилось три дня, когда мы его усыновили. Он спит в нашей постели вместе с нами, и нам одним посвящены его писк, возгласы радости и печали, жалобы, песни, игры. Иногда он пьет у нас изо рта, а только что нагадил мне в руку. Но ты, наверно, хочешь узнать, кто это? Попробуй угадать: жеребенок, поросенок, щенок? Нет – цыпленок по имени Фифио. Чистый, пахнущий свежестью. С его появлением даже воздух в доме изменился.

На то время, что я писал тебе письмо, я вынес его в коробке на солнце, поскольку иначе не мог ограничить простор для его подвигов, но именно в тот момент, когда я с торжеством

подумал, что воздвиг неодолимое препятствие для его крылышек, он выпорхнул наружу – и вот я снова раб этого малыша.

После визита к тебе я принес домой хорошее настроение, вызванное уверенностью в том, что у меня есть верный друг. Тебе часто удавалось всего одним словом удерживать меня в границах осторожности. То же самое я попытаюсь сделать для моего цыпленка, чтобы удержать его в коробке.

Хотел бы я, чтобы ты сейчас увидел, как он стоит на мыске моего деревянного башмака, пытаясь дотянуться до моей дряхлой руки. Всякая дружба начинается с привязанности…*

Сначала это был просто шар с клювом и коготками, похожий на желтый мячик, который пищал день и ночь – даже во сне.

На ночь Элиза укладывала его в некое подобие гнезда из ваты в шляпной коробке, стоявшей возле кровати, на расстоянии вытянутой руки, и часто просыпалась, чтобы его погладить. Если ей казалось, что он замерз, она, охваченная материнской тревогой, добровольно забирала его в постель и устраивала у себя под мышкой или между грудей.

Погода стояла ясная, но было холодно. Поскольку по утрам он сильно дрожал, я засовывал его себе под рубашку, и там он мог в свое удовольствие ходить вокруг моей та-

* Письмо писателю и издателю Жану Полану (1884–1968).

лии, не рискуя выпасть наружу благодаря тому, что полы рубашки удерживал брючный ремень. В свою очередь, и я ходил туда-сюда по дому и саду, и даже прогуливался по кварталу со своим теплым пищащим грузом, на манер кенгуру. Конечно, не обходилось без характерных потеков на рубашке, но их легко было отмыть или счистить, так что это не доставляло больших хлопот.

Именно из этой постоянной близости, всецело плотской, произросли его полное доверие ко мне и, готов поклясться, наша верность друг другу в любых испытаниях до самой смерти. Поскольку мы никогда не разлучались, для нас уже невозможно было расстаться, потерять друг друга из вида, словно мы были связаны невидимой нитью. Он беспрестанно ходил вокруг меня в темноте, и я, без сомнения, любил его больше, чем он меня, поскольку я в наших отношениях был более бескорыстным; но хотя он и ждал от меня тепла и еды, кто знает, не было ли то удовольствие, которое он мне давал, гораздо большей ценностью?

Устав от своего затворничества, Фифио высовывает голову в импровизированное окно, которое я ему обеспечиваю, расстегнув пуговицу на рубашке в районе пупка; некоторое время он наблюдает за окрестностями, потом издает заливистый крик – и вот он уже снаружи, ищет, чем бы поживиться.

Проснувшись, он первым делом вытягивает лапы, одну за другой, а потом поочередно каждое крыло – точно так же, как мы после сна расправляем затекшие конечности. Затем направляется к стоящей поблизости плошке с водой, отпивает из нее и, запрокинув голову и прикрыв глаза от наслаждения, некоторое время полощет горло, прежде чем проглотить воду. Если мимо пролетает муха или мошка, не различимая человеческим глазом, он, прирожденный охотник, бросается за ней через весь мой кабинет, скользя по навощенному паркету, позолоченному солнцем.

Сегодня, 13 мая, чудесный день. Элиза, однако, упорно не желает выходить и заставляет меня разделить ее затворничество. Фифио сидит у ее ног.

15-го она делала вид, что интересуется своим цыпленком, хотя на самом деле думала только о курочке, которую увидела вчера на птичьем рынке, но не смогла купить, поскольку ей не хватило восьмисот франков.

Сегодня утром я дал ей эти вожделенные восемьсот франков, но в тот самый момент, когда она собиралась выйти из дома, чтобы отправиться на рынок, явился служащий газовой компании, который вручил ей счет на девятьсот франков.

Сейчас она спит прямо на пороге. Должно быть, она видит себя на набережной Ко-

жевников*, куда смогла попасть хотя бы во сне.

Вернувшись к реальности, она выразила мне недовольство по поводу необходимости отдавать такие деньги, по сути, ни за что – за какой-то там газ, уже давно развеявшийся по ветру. И сразу вслед за этим принялась петь хвалы щедрости доктора *Д.* Разумеется, во мне никак нельзя было найти ничего, чем стоило бы восхищаться, пусть даже я, со своей стороны, тоже проявил щедрость, отправившись в банк и принеся ей новые восемьсот франков, что в общей сложности составило уже тысячу шестьсот.

Если только ей не встретится по дороге служащий электрической компании, который, в свою очередь, ее ограбит, она получит свою курочку сегодня вечером.

Элиза разговаривает со своим цыпленком: «Когда-нибудь разрушатся соборы, как уже разрушились статуи языческих богов, но все Фифио так и пребудут Фифио. Природа останется верна своему ритму, и с этим никто ничего не сможет поделать».

И еще: «Мое сердце так просторно, потому что в нем никто не живет, кроме этого человека и наших животных, о которых я забочусь, – и больше всего, конечно, о моем любимом цыпленочке!»

---

* На набережной Кожевников находятся цветочный и птичий рынок.

Когда Фифио долго остается один, а потом появляюсь я, – он уже не кричит, а поет.

По вечерам, когда я вытягиваюсь на нашей кровати и замираю неподвижно, делая вид, что сплю, для Фифио настает долгожданный момент, когда он, сколь бы мал он ни был, сравнивается ростом со мной. Сначала он обходит вокруг моей головы, затем протискивается между моим затылком и подушкой и начинает возиться, устраиваясь поудобнее в этом углублении – словно хочет получить в полной мере все те ласки и материнское тепло, которых был лишен в детстве. Мне нравится, что это происходит как бы без моего разрешения – от этого его иллюзия более сильна. Но вот он в один миг перепархивает на кончик моего носа, оттуда на лоб – и вот уже его крошечные лапки и клюв трудятся над моим черепом, долбя и царапая его. К несчастью, у меня не так много волос, чтобы можно было вообразить себе перья. Отсюда он перепархивает мне на горло, где некоторое время сидит, поджав лапки, и наконец перемещается на руку, лежащую возле рта, к которому он садится как можно ближе, словно прислушиваясь к моему дыханию или ожидая поцелуев. Вскоре я засыпаю, и он тоже; Элиза вяжет, сидя неподалеку от нас и наблюдая за нашими маневрами. Два часа спустя я просыпаюсь в темноте. Фифио по-прежнему неподвижно сидит на одном из моих согнутых пальцев, уткнувшись клювом мне в губы.

Мы заметили, что Фифио, если поднести его к лицу, норовит просунуть клюв между наших губ – то ли ему нравится стучать им о зубы, то ли он надеется получить глоток воды, то ли хочет обменяться поцелуем с любимыми существами.

Фифио нравится бывать в саду, но только если я прогуливаюсь там вместе с ним. Когда я направляюсь к дому, он устремляется за мной, пищит и забегает вперед, преграждая мне дорогу, словно надеется меня вернуть.

Если он роется в цветнике, отыскивая себе корм, а я в это время прохожу по аллее, направляясь к фонтану, он бросает свою добычу и устремляется за мной, словно считает своим долгом меня сопровождать; он семенит так быстро, что обгоняет меня, останавливается и начинает рыться в земле, потом вновь следует за мной по пятам – возможно, просто из вежливости.

Весь сегодняшний день Фифио провел в моем рукаве – очевидно, нуждаясь в убежище и тесной близости. Вчера вечером мы с Элизой ушли в гости, надолго оставив его одного. Он хочет наверстать упущенное.

Готов поспорить, что в наше отсутствие он непрерывно поднимался и спускался по лестнице, пытаясь нас отыскать – мы обнаружили его сидящим на ступеньке, задыхающегося и совершенно обессиленного.

На моем рабочем столе стоят цветы. Фифио считает их своим личным садом, предназначенным только для него. Он больше не отходит от этого букета, прячется в нем, живет в нем – вплоть до того момента, когда, словно устав от этого рая, набрасывается на него, опрокидывает и начинает терзать, а затем склевывает обрывки лепестков.

Я отворачиваюсь, проходя мимо крольчатника, чтобы не поддаться искушению погладить Рике и Рикики – поскольку знаю, что однажды мне придется их убить. Лучше мне не устанавливать между нами никаких иных отношений, кроме тех, что связывают жертву и палача. Последний взгляд Августины, их матери, причинил мне столько боли, когда она приблизилась ко мне, ища привычной ласки, – а я схватил ее за лапы и чудовищным ударом оглушил. Больше того, один из ее глаз, который еще секунду назад так нежно на меня смотрел, меня попросили вырезать, чтобы кровь вытекла наружу и мясо сохранило свою белизну. Так что вдобавок я согласился и обезобразить свою жертву; при воспоминании о том, как я вырезал глаз уже мертвой Августины кончиком ножа, у меня до сих пор пробегает по спине холодок. Зачем же, спросите вы, соглашаться на такую работу? Чтобы не поручать ее кому-то другому, кто не смог бы выполнить ее столь тщательно – я хочу сказать, с той же ловкостью и в то же время почтительностью.

Я предпочитаю истреблять этот маленький мирок сам, с наименьшей долей жестокости. И потом, мне нравится думать, что я способен выполнять нелюбимую работу и выполнять ее хорошо – пусть даже это заставит скрежетать зубами толпу старых дев, которые без малейших угрызений совести изводят с утра до ночи всех своих близких, за исключением любимой собачонки.

Ивонна: «Вы убили невинное животное, которое еще вчера холили и лелеяли, а потом еще спрашиваете, как это вы оказались способным на всё. Вот с этого всё и начинается. Такой поступок предвещает, предваряет и укрепляет все душевные пороки, всю неблагодарность, забывчивость, черствость – отчего они гораздо легче проявляются».

Я убил Августину. Я съел Августину. Нужно есть то, что любишь. Возможно даже, имеешь на это право; но и тогда из стыдливости запрещаешь себе обращаться с будущей жертвой слишком нежно.

Теперь я прохожу мимо крольчатника с ощущением, что это приют для сирот. Я не осмеливаюсь повернуть головы, чтобы не увидеть в их глазах упрек или не поддаться желанию сказать им что-нибудь ласковое.

Вместе с тем сегодня утром, словно готовя очередное преступление и постепенно приучая себя к этой разновидности каннибализма,

я с удивлением для себя назвал самого Фифио «мой цыпленок табака». Но, разумеется, применительно к нему это было лишь поддразнивание.

Будучи еще цыпленком, Фифио часто навещал наших кур на птичьем дворе. Но они совершенно его не замечали, словно не видели в упор, а проходя мимо, даже пинали – и он возвращался с оскорбленным видом.

– Оставь их, малыш, – говорила Элиза, – у тебя нет ничего общего с этой чернью. Ты же знаешь, твоя настоящая семья (кажется, она даже сказала «твоя настоящая мать») – это мы.

Сегодня я опять ходил к булочнику и бакалейщику, неся Фифио за поясом. И по дороге, и в магазинах все встречные, глядя на меня, словно задавались вопросом, в чем смысл подобной рекламы.

У меня всё больше создается ощущение, что для этого маленького существа я – центр мира, в котором он ориентируется лишь благодаря мне; по крайней мере, я для него – средоточие его счастья, его безопасности. Это от моей руки он ждет корма, от моего тела – тепла, от моей бдительности – защиты. И ни к кому другому не обращены его Вера, Надежда и Любовь. Я для него Отец в том же смысле, а котором Бог является Отцом всего мира видимого и невидимого, и единственная разница лишь

в том, что он не обязан мне жизнью, но лишь ее сохранением. Предположим, в его истории я играю роль его личного Провидения. Знает ли он это? Должно быть, подозревает, догадывается; больше того, по некоторым признакам я замечаю, что он особенно чувствителен к тем заботам, тем знакам внимания, в которых нет насущной необходимости и которые относятся лишь к движениям души.

С каждый днем он все больше принимает меня за свою мать – и какую мать! Если я выхожу прогуляться в сад, он следует за мной, а если я покидаю пределы наших общих владений, он смотрит мне вслед с таким сожалением, словно без меня чувствует себя абсолютно потерянным. И напротив, его не удержать снаружи, если он знает, что я дома: он не уходит с порога и настойчиво зовет меня. Когда я появляюсь, он ликует. Стоит мне наклониться и постучать пальцами по земле, как курица стучит клювом, он тут же бросается ко мне и внимательно рассматривает то место, которого касались мои пальцы, – как будто у меня нет в жизни иного предназначения или каких-то других дел, кроме того, чтобы указывать ему на добычу.

С тех пор, как он подрос, ему нравится лежать на солнце в позе сраженного воина: закатив глаза, вытянув лапы, чуть-чуть подрагивая крыльями, словно в предсмертной агонии.

Вчера, в воскресенье 11 июля, день был омрачен печальным инцидентом, драмой. Фифио следовал за мной по пятам, и я, дойдя до лестницы, начал быстро подниматься через две ступеньки, чтобы он отстал. Кто бы мог подумать, что он будет двигаться за мной с той же скоростью, не отставая ни на шаг, до самого второго этажа? В тот момент, когда я переступил порог кабинета, дверь, свободно открывавшаяся в обе стороны, веса которой вполне хватило бы, чтобы обезглавить его или расплющить, отбросила его назад, и он распластался на полу. Сначала мы подумали, что он мертв. Но вот он поднялся – на подгибающихся лапках, с подрагивающими крыльями, разгневанный и раздосадованный, со слезами на глазах. У него даже не было сил кричать, но его слабый жалобный писк разрывал мне сердце. Я всеми силами пытался смягчить нанесенный ему ущерб, в то время как Элиза наполняла грелки горячей водой, чтобы обеспечить ему теплое убежище. Вся ночь прошла в тревоге и опасениях, как бы не обнаружить его мертвым на следующее утро.

Он выжил, он снова начал петь, хотя долгое время ничего не ел, только пил воду, отчего приобрел забавный и трогательный вид. Из-за постоянных забот мы еще сильнее привязались к нему, а он – к нам. Прежде я был для него изначальным теплом мира, а теперь вдобавок стал лекарем и сиделкой в одном лице.

Какое мужество он проявлял! Какую несгибаемую волю к исцелению! Его стойкость в сочетании с терпением, его умение и осторожность, с которыми он вновь приводил в движение омертвевшие конечности, действуя ритмично и аккуратно, – сотворили чудо. Он сам выбирался на солнце и подставлял ему поврежденные лапу и крыло, а затем, улегшись, поочередно вытягивал и сгибал их, чтобы избежать онемения суставов (вид поверженного гладиатора, который он демонстрировал еще недавно, был все же некоторым преувеличением). Потом он поднимался и пробовал некоторое время простоять на здоровой ноге, но всякий раз почти сразу же, пошатнувшись, падал. Однако, ничуть не обескураженный, он неустанно возобновлял свои упражнения на гибкость, словно тренирующийся гимнаст, которого он словно бы изображал. Что ж, если эта несчастная покалеченная лапа больше не может служить для ходьбы или даже стояния, возможно, удастся приспособить ее к какому-то другому делу – например, чистить перья? Увы! Опять неудача. Утратившая гибкость из-за опухоли, лапа не достигала своей цели, и когти царапали пустоту. Ничего. Не плакать и не жаловаться. Сохранять бодрость духа, несмотря ни на что. Фифио, судя по всему, ни в коем случае не хотел делать из случившегося трагедию: казалось, он не верит в очевидность, отрицает свое несчастье, делает вид, что не замечает его – как если бы силой своей веры наде-

ялся буквально с минуты на минуту от него избавиться.

И вдруг это случилось. Непонятно, как ему это удалось, но в один прекрасный день он почти перестал хромать. В течение дня его походка еще оставалась слегка нетвердой, но уже к вечеру полностью выправилась.

Бигуди

Вчера вечером было холодно, и нам пришлось спать вместе – он примостился у меня на груди. Но какое там спать! Месье не спалось, он поминутно трепыхался и пел из-под одеяла. В конце концов мне это надоело, и я вытащил его из убежища, собираясь передать Элизе – чтобы она, в свою очередь, уложила его в гнездо. Но в момент перехода из рук в руки наш петушок вспорхнул и снова уселся напротив меня, притопывая от возмущения и словно бы осыпая меня упреками. Затем он начал перелетать туда-сюда, уворачиваясь от нас и явно собираясь добраться до единственного места в мире, создающего ему – я в этом уверен – иллюзию матери, которую он повсюду искал, призывал, но так и не находил, – затылка Элизы, который он постоянно пытался штурмовать, хотя и не вполне понимая, как это сделать, побуждаемый лишь смутным инстинктом. Гораздо более густые, чем птичьи перья, пряди волос Элизы, собранные в плотную массу, вздымались у изголовья кровати,

словно побеги экзотического растения, – и вот Фифио методичными круговыми движениями принялся заворачиваться в них, вплоть до того момента, пока на виду не остался лишь его клюв, которым он орудовал с ловкостью славки-портнихи – птички, которая не столько вьет, сколько шьет себе гнездо.

В этот момент нам с Элизой одновременно пришло в голову одно и то же сравнение, и мы хором воскликнули:

– Бигуди!

Какого вида он будет? Какого рода? Столько сюрпризов… Поистине, нет ничего более забавного и трогательного, чем метаморфозы цыпленка.

Из желтого Фифио стал белым, его цыплячий пух сменился перьями благородного оттенка слоновой кости. На макушке появился маленький красный гребешок. Мало-помалу он стал твердеть и удлиняться, становясь похожим на зубчатый гребень шлема, вырезанный из сердолика или коралла. Поначалу пурпурный, он постепенно становился оранжевым.

Это оказался петух-леггорн.

В нашей спальне, где он уже давно чувствует себя как дома, Фифио, повзрослев, выбрал своим любимым пристанищем трельяж Элизы из черного лакированного дерева. Там он всегда уединяется, чтобы предаться размышле-

ниям или мечтам. Томно раскинувшись, словно одалиска, он любуется своим отражением, трижды повторенным в зеркальных створках.

Может быть, он уже примеряет на себя роль Нарцисса? Или Коридона?

Если мне случается отдыхать там среди дня, он тут же вспархивает на кончик моего башмака и надолго застывает в полной неподвижности.

Сегодня утром я сидел босиком, и он, растянувшись на полу, уютно примостил затылок в небольшом углублении между двух пальцев моей ноги, словно на подушке или диванном валике. Иногда он принимался с наслаждением тереться о них, а иногда, переворачиваясь, слегка их поклевывал, словно поддразнивая меня.

Когда он, разведя крылья наполовину или во всю ширину, занимается своим туалетом на китайском голубом ковре с узором из лилий, цветом напоминающих его собственное оперение, он становится похож на гондолу из слоновой кости, а когда, грациозно изогнув шею, опускает голову вниз и погружает ее в густой пух на животе, или запрокидывает назад и приглаживает перья крыльев и хвоста, тщательно проводя клювом по всей длине, – он напоминает скользящего по глади искусственного озера миниатюрного лебедя или мифическую птицу.

Элизе приснилось, что люди вследствие голода и лишений были поставлены перед необходимостью есть друг друга, но все с отвращением от этого отказывались – кроме меня, находившего это вполне естественным. Вероятно, сон был вызван тем, что накануне я ответил кому-то, с наигранной тревогой осведомившемуся по поводу нашего цыпленка:

– Вы ведь его не съедите, правда?

– Почему бы и нет?

Самое примечательное, что я произнес это совершенно искренне, но без всякой связи с голодом – в последнее время у меня совсем нет аппетита. Я лишь хотел показать, что питаю гораздо большее отвращение к нарочитой сентиментальности, чем к жестокости – которой, впрочем, во мне столь мало, что мои слова были скорее проявлением слабости, нежели силы.

Элиза утверждает, что если она берет на руки и ласкает больше обычного свою черную курочку, осыпая ее похвалами и восторженными восклицаниями, Фифио приходит в ярость и начинает скрести когтями по полу у ее ног; но когда она пытается проделать то же самое в моем присутствии, чтобы доказать истинность своих слов, – Фифио, то ли оттого, что я здесь и наблюдаю за ним, то ли оттого, что не желает демонстрировать злость по заказу, принимает абсолютно безразличный вид и, повернувшись спиной, оставляет нас.

Но что несомненно – когда он спит, запертый в своем рукотворном гнезде, откуда не может увидеть, что происходит снаружи, то при моем приближении всегда начинает пищать, а если подходит кто-то другой – хранит молчание.

Брак* говорит мне: «Нет, я бы не стал выращивать цыпленка, потому что он каждую минуту напоминал бы мне о том, что я плотояден, и заставлял об этом сожалеть». – «Это, конечно же, очень деликатно с вашей стороны, но почему вы прячетесь за курицей, которую вы разделываете, от цыпленка, которого отказываетесь воспитывать, – как будто этот отказ сделает вас менее плотоядным? почему предпочитаете душевной отраде такое грубое удовольствие, как насыщение желудка? Что до меня, я не отказываюсь ни от чего, принимаю всё, предпочитаю не быть чуждым ни тому, ни другому, говоря себе: закон суров, но это закон – есть то, что любишь. Жестоко, скажете вы?» – «Нет, ничего такого я вам не скажу, – отвечает Брак, – я и сам почти того же мнения, разница лишь в том, что вы ближе к истине, принимая жизнь такой как есть, тогда как я живу во лжи, порабощенный собственной слабостью».

Ивонна, говоря об элизиных кроликах, заявляет: «Сначала вы ухаживаете за этими без-

* Жорж Брак (1882–1963) – художник, иллюстрировал книгу Жуандо «Спуск в ад» (1961).

обидными существами – тоже мыслящими, на свой лад, – кормите их, гладите и нежите, а потом убиваете их и едите, а из их шкурок делаете себе прикроватный коврик или жилет. Если не считать, что у нас есть права на них, которые мы сами себе милостиво даровали, – чем еще мы превосходим животных? Наши радости и печали, наша смерть и наши останки, которые принято окружать таким почтением, – возможно, значат не больше, чем их?

– Но разве наш Фифио кровожаден, – возражаю я, – когда, найдя гнездо уховерток, уничтожает всех? Одну за другой он рассекает их когтями на три части, совсем как мы, когда орудуем ножом, и заглатывает в три приема, подцепляя клювом, как мы это делаем вилкой, – так быстро, что они в это время еще шевелятся. Поистине, мы не смогли бы съесть его самого быстрее. Жестокость начинается лишь тогда, когда пытаешься возвыситься над природой, которая не спорит с неизбежным.

В нашем голосе ощущается какой-то особый трепет, когда мы заговариваем с животными: они словно позволяют нам излить нечто невысказанное, то, что, несомненно, нам было бы некому адресовать, если бы не они. Иной скажет: «Что за вздор, какая ерунда!» – но на самом деле эти обращения совсем не так глупы, коль скоро удовлетворяют нашу потребность растрогаться, умилиться, размягчиться душой; к тому же они порой столь очаровательно

ны по форме, столь забавны в своей изобретательности. Я прежде всего вспоминаю о тех словах, которые моя бабушка с отцовской стороны в изобилии придумывала – с фантазией, близкой к гениальности, – всякий раз, когда говорила с коровой, курицей, собакой или кошкой. С таким же нежным воркованьем Элиза обращается к своим курочкам, осыпая их ласковыми прозвищами: «Моя душенька, мое чудо, моя красотка, моя беляночка, моя снежинка», – чтобы, впрочем, тут же перейти, как и моя бабушка, от таких неумеренных восхвалений к ругательствам, стоит лишь объекту этих восхвалений чем-то ей не угодить. И только вообразите себе, каким счастливым избавлением от множества упреков и бранных слов, перенаправленных другим адресатам, словно потоки воды в отводных каналах, это становится для меня, как прежде – для моего деда!

Список охотничьих трофеев Элизы пополнился еще одной жертвой.

Недавно она соорудила курятник необычной конструкции, руководствуясь своим врожденным архитектурным вкусом. Он состоял из двух основных частей – в первой были устроены гнезда, а во второй, побольше, служившей спальней, от одной стены к другой тянулись шестки. Каждое из этих помещений, непроницаемых, укрытых от посторонних глаз, соединялось отдельным коридором

из густых вьющихся растений с длинной террасой, где наши подопечные могли в свое удовольствие гулять на солнце. И всё это сооружение покоилось на стоявших вплотную друг к другу деревянных ящиках со сквозными решетчатыми планками, как на сваях. Регулярная уборка легко осуществлялась с помощью сильной струи воды из шланга, и все обитательницы были довольны – вплоть до того дня, когда мы заметили, что по какой-то непонятной причине они отказываются заходить внутрь своих жилищ, столь удачно задуманных. Даже ночью они предпочитали оставаться под открытым небом, а утром – откладывать яйца не в гнезда, а прямо в землю, даже если шел дождь.

Элиза, встревожившись, тщательно проинспектировала курятник и быстро обнаружила ключ к разгадке. Над кормушкой с зерном, со всеми удобствами, заваленная всевозможной провизией буквально до самых глаз, – расположилась огромная крыса. Стало быть, воцарившись над курятником, захватчица ни в чем себе не отказывала и отъедалась в свое удовольствие, в то время как наши куры постепенно чахли.

И Элиза, и непрошенная гостья действовали без промедления. Внезапно выброшенная из своего уютного дремотного полумрака на яркое полуденное солнце, крыса одним точным прыжком перенеслась почти на середину аллеи и, возможно, спаслась бы, – но, ока-

завшись в непривычном месте, растерянная, ослепленная и напуганная, она заметалась, уже не разбирая дороги, бросаясь то вправо, то влево, колотясь о стены и не находя выхода. Наконец, в тот момент, когда она уже собиралась ускользнуть в небольшое подвальное окошко, Элизе удалось нанести ей удар лопатой, после чего, раненая и оглушенная, жертва рухнула на землю, где охотница добила ее своим оружием, развернув его плашмя, – та не успела даже пискнуть.

Фифио между ужином и сном

Всё то время, что длился ужин, Фифио, хотя уже насытился, не переставал тянуть меня за полу халата. Я не протестовал. В результате именно он сдался первым. Вздыбив перья, он раздул свое жабо до такой степени, что стал похож на изображения химер с женскими грудями, – и, потеряв равновесие, рухнул к моим ногам, после чего в некоторой растерянности начал обводить всё вокруг блуждающим взглядом, точно пьяный. Тогда я заговорил с ним – ласково, вполголоса, перемежая нежные слова всевозможными эпитетами, которые внушала мне его белизна, и стараясь не повторять те, что придумывала Элиза. Я называл его белым ангелочком, белым лебедем и белой лилией – и в ответ на каждый комплимент он благосклонно кивал, слегка изгибая шею, чтобы лучше видеть и слышать меня;

его изящная головка клонилась под тяжестью зубчатой диадемы. Мало-помалу втягиваясь в эту импровизированную литанию, он стал отвечать на каждую мою фразу негромким протяжным звуком – вначале это выглядело как обычный знак согласия или одобрения, затем постепенно сменилось воодушевлением и, наконец, восторженным ликованием, к которому примешивалась благодарность. Наконец я завершил свою партию и вышел из игры. Тогда, отдавшись во власть своего собственного вдохновения, он начал петь, всё громче, составляя целые музыкальные фразы из трех, пяти, десяти нот – и каждая звучала еще более звонко, чем предыдущая, словно компенсируя изначальные, едва слышные звуки.

Бывает и так, что он неожиданно замолкает и некоторое время выдерживает паузу, после чего наступает апофеоз: Фифио еще больше раздувает свой и без того внушительный хвост, выпячивает грудь и отводит назад шею, гибкую, словно лиана, запрокидывая голову с точеным, будто у камеи, профилем. Держа ее идеально ровно, на одной линии с шеей, он словно измеряет себя от кончика клюва до кончика хвоста, одновременно изящным и почти неуловимым движением разводя и приподнимая крылья, отчего они принимают форму колокола. В такой позе он долго стоит неподвижно, раздуваясь от гордости, на вершине самодовольства, столь прекрас-

ный, что как никогда похож на каравеллу мечты или мифического лебедя. Не в силах удержаться, я обращаю к нему приветственную речь: «О, Аполлон среди петухов, еще раз спустившийся на землю, чтобы навестить нового Адмета – разумеется, ни в коей мере не претендуя на то, чтобы наша Элиза сыграла роль Алкесты!» Но тут же, не заставляя себя ждать ни секунды, последняя вмешивается и начинает меня поправлять, поскольку ей хотелось бы, чтобы Фифио был курочкой (хотя в принципе она считает крайне неблагоразумным со стороны матерей давать мужские или женские имена своему еще несформировавшемуся потомству, словно для того, чтобы определить его пол для себя или, по крайней мере, склониться либо в ту, либо в другую сторону): «Знаешь ли ты, Фифиолетта, малышка моя, – вкрадчиво говорит она, – что ты настоящая Венера среди кур? Ты рождена на небесах, и твоя красота совершенна: ни малейшего изъяна нет ни в твоих пышных формах, ни в твоей горделивой осанке, ни в твоем золотом венце». Но чтобы еще больше оградить от моих пагубных заклинаний свою волшебную «птичку», она хватает ее и уносит к себе на кровать, где укладывает в изголовье, а затем ложится рядом и, склонившись над ней, как волхвы над яслями Иисуса, читает ей о ее породе из «Обитателей птичьего двора»:

– Знаешь ли ты, дорогая моя Фифиолетта, – говорит она, – что твоя порода – леггорн?

И что… и что… (тут она переходит к самому интересному для нее) ты – курочка, так что изначально в твоем маленьком тельце уже заложено целых двести яиц, и ты будешь нести их для нас день за днем, словно перебирая четки на розарии… через год это случится впервые…» – и так далее в том же духе. Фифио внимательно слушает – ему явно льстит, что он принадлежит к благородной породе, обильной телом и плодовитой.

У нас есть кролик, который был настолько мал, когда появился на свет, что мы прозвали его Рикики*. Сейчас он уже не кажется таким крошечным, он вырос, и ничто так не трогает меня по утрам, как его серьезный и задумчивый вид, когда я, входя в крольчатник, застаю его сидящим у окна и словно бы погруженным в смутные мечты. О чем он может мечтать, устремив взгляд в будущее? Я приношу ему угощение – свежий хлеб, кормлю и глажу его. Может быть, он думает о том, что эта рука, которая сейчас кажется такой дружелюбной, – та же самая, что завтра или в другой день, в это же самое время, грубо схватит его, вытащит из клетки и убьет – как уже убила его мать? Если он и не думает об этом, то думаю я, и наши отношения отравлены этим с самого начала. Однако я получаю урок у этого маленького философа, который размышляет

* Riquiqui – «Мизинчик».

в своем углу, – прежде чем возвращаюсь в свой собственный.

Мои канарейки щебечут вовсю, громко и немного нервно. Что же происходит? Им не сидится на месте, они возятся в своей клетке, привлеченные, как мне кажется, живущими по соседству воробьями, которые, собравшись на крыше противоположного дома, устроили для них настоящий уличный спектакль – судя по всему, комедию, в награду за которую надеются выпросить несколько зернышек или хлебных крошек после окончания представления. Самое удивительное, что мои златоглавки совершенно не завидуют свободе этих бродячих актеров, с которой они сами не знали бы, что делать, если бы вдруг ее получили, и не объединяются, чтобы совместно прогнать чужаков. Напротив, они их зовут, подбадривают, приглашают, а затем устраивают им радушный прием, то есть тактично отодвигаются, предоставляя кормушку в полное распоряжение гостей, за которыми наблюдают удивленно и слегка сочувственно – нечасто приходится видеть, чтобы кто-то ел с таким аппетитом и удовольствием.

Пока я пишу, я продолжаю иногда смотреть на канареек – вся их клетка облеплена воробьями, которые их развлекают; привычные к своему амплуа ярмарочных фигляров, они проделывают какие-то трюки и выгля-

дят при этом так, словно хотят что-то спрятать или утащить. Я, со своей стороны, делаю всё, чтобы не спугнуть этот балаган и изучить его с близкого расстояния. Ни у каких других птиц не заметны до такой степени различия между отдельными индивидуумами, как у воробьев – этих отбросов всех пород. Ни один не похож на другого. Их пестрые жилетки от-

личаются по цвету, форме и ширине – одни украшены больше, другие меньше; их клювы – всевозможных калибров; под общим для всех вульгарным, «простонародным» поведением – какое умение притворяться, сколько хитрости, плутовства, мошенничества, какое чертовское нахальство!

Фифио проявляет всё больше утонченности, немного жеманной, салонной. Он часами караулит у порога, выжидая того момента, когда я по рассеянности оставлю неплотно прикрытой входную дверь, чтобы войти в дом – весь в белом, как победитель, за компанию с черным Дуду, моим котом. Но если последний сразу же проскальзывает на кухню, куда влечет его гастрономическая страсть, то Фифио направляется прямиком в будуар Элизы, где располагается перед зеркалом и, словно кокетливая барышня, вертится из стороны в сторону: приподнимает и вытягивает то одно, то другое крыло, изгибает шею, покачивает головой, принимает разные позы – с благосклонным видом расточающего милости монарха.

Интересно, полагает ли он себя в одиночестве или наедине с другим Фифио, своим двойником? Вот он говорит, напевает, приседает, весь погруженный в созерцание своего отражения, – вплоть до того момента, когда догадывается, что происходит или что за ним тайно наблюдают; тогда он забивается под кресло, словно застигнутый на месте преступления. Нет, поистине ничто не трогает меня сильнее, чем тайные свидания нашего дорогого питомца с зеркалами.

Является ли его утонченность признаком того, что он «очеловечивается» от общения с нами? Элиза и я – это весь его мир, его духовный горизонт: именно мы были рядом с ним, когда в нем пробудилось сознание, именно в складках моей рубашки он впервые наслаждался теплом, и от моей руки получил свои первые удовольствия, которых даже не ждал, – все нежности, все знаки внимания, которые я только смог изобрести и ему подарить. Еще ни одна курица не заботилась о своем выводке столь же ревностно, как я – об одном-единственном цыпленке. Однако у каждого вида существ есть своя особая, неизгладимая память, содержащая те предписания, от которых они не могут уклоняться, и управляющая их привязанностями. Он тоскует по птичьему двору, и влечет его к нашим зеркалам именно стремление найти себе подобного, своего собрата, причем такого, который, по счастью, не наносит ему ударов

клювом – или, по крайней мере, они его не достигают, так же как удары тех кур из стоящего в саду курятника, которым только сетка мешает наброситься на него и растерзать. Но, в сущности, ему безразлична их враждебность. Он воображает себе существо, которое ответит ему взаимностью, рано или поздно. Его собратья – это его собратья, которых никто ему не заменит, и, судя по всему, именно возле нашего птичника он вновь обретает ту «общую душу» своего племени, своего клана, которая мешает ему ощущать себя полностью в своей стихии, находясь рядом с нами, словно в заточении – он сознает, что он здесь чужой, несмотря на все наши ласки и поблажки, и в наших комнатах, как и в наших руках, он чувствует себя оторванным от корней. У «них», без сомнения, одни и те же представления о жизни и об удовольствии, одни и те же притязания, одни и те же безотчетные опасения, один и тот же язык; они заключают между собой пакты о дружбе и не ждут друг от друга иных знаков внимания, кроме тех, что связаны с их интересами или страстью, – они улавливают эти знаки, даже если не выражают их друг другу открыто. Будучи лишен этих тайных взаимоотношений, он чувствует себя одиноким. По аналогии со словом «человеческий» следовало бы подобрать и другие определения, чтобы обозначить чувства, которые объединяют и замыкают в себе представителей каждого вида существ.

Однако, скажете вы, это всё же был интересный опыт – забрать из родной среды редкого индивида, предрасположенного к такого рода авантюрам, и привязать его к себе до такой степени, что он покинул свои природные границы, чтобы вступить в ваши, без всякого сожаления. Да, нечто подобное я проделал дважды – с Миносом, котом, чью историю я рассказал выше, и с Фифио – но последний, хотя и вырос, можно сказать, у меня на коленях, свободный от всяких связей с сородичами, все время тянется к ним, хотя и живет на свободе, а они – взаперти, и, несмотря на всю нашу щедрость и их скупость в проявлении родственных чувств, они все же привлекают его больше. Он ищет их хотя бы для того, чтобы затеять с ними ссору – если за ним наблюдаешь, или для интимных встреч – если предоставляешь его самому себе. Вот, например, сегодня вечером – разве не такого рода встреча у него была с толстой светло-коричневой курицей, с которой они стояли по разные стороны сетки, но вплотную к ней, буквально клюв в клюв? Их обоих скрывала тень густых зарослей бересклета, которая, вкупе с разделяющей их сеткой, создавала атмосферу исповедальни, где они вели полный откровений волнующий разговор, невольным свидетелем которого я стал. Речь шла явно не о сражении за кормушку – поначалу они издалека обменивались какими-то тайными знаками, чтобы потом перейти к сближе-

нию, тем более надежному, чем менее торопливому.

Порой Фифио нас покидает и, поскольку он верен себе и своей идее, обнаружить его чаще всего удается по соседству с курятником: он вспархивает на спинку железного садового стула и оттуда часами наблюдает за своими соплеменницами – с неослабевающим

вниманием, как в театре или в школе жизни, поскольку речь идет в том числе и о его будущем: кто-то чистит перья, кто-то несется, кто-то сидит на яйцах. Все эти действия остаются загадочными даже для них самих, но глубоко укоренившийся инстинкт побуждает и помогает их совершать. Для Фифио всё, что они делают, тоже является уроком, поскольку он смутно сознает, что относится к тому же «числу», – как сказала бы наша Элиза, поклонница Аристотеля, – в уме и воле Творца, что и они.

Когда я вошел в сад, мне предстала зверская сцена (не только в буквальном смысле, но и в том, в каком употребляют обычно слово «зверства» применительно к методам врага, которые он использует, чтобы победить): Фифио, мой драгоценный питомец, был поглощен отвратительным занятием – мощными ударами клюва он отрывал по частям кровоточащую лапку еще живой лягушки, которую заставлял судорожно трепыхаться, постепенно поглощая ее. Я буквально омертвел при виде таких мучений и такой бесчувственности;

чтобы положить конец тому и другому, я добил несчастную жертву случайно подвернувшимся под руку кирпичом, шепча: «Господи, окажи мне ту же милость, если мне когда-нибудь доведется претерпевать невыносимые муки».

Пробуждение Фифио, сентябрь 1943

На отдыхе в Шамбурси он спит в чемодане Алисы Дерен*. Заслышав мой голос, он начинает энергично возиться, отчего всё его убежище ходит ходуном, но крышка привязана крепко. Я выношу чемодан в парк, на солнечное место, развязываю веревку – и Фифио выскакивает, как чертик из табакерки. Он вытягивает занемевшие лапы, расправляет крылья и приглаживает перья. Затем начинает двигаться словно бы под музыку, слышную только ему, – сперва танцуя менуэт, потом постепенно убыстряя темп и наконец переходя к буйной фарандоле. Не останавливаясь, он умудряется одновременно справлять нужду и клевать побеги мяты. Внезапно он резко замирает и начинает чистить перья, вздыбив их от головы до хвоста, отчего становится похожим на сову или какую-то диковинную сказочную птицу. И всё это четкими, отработанными движениями, как в балете.

После завтрака я работаю в саду. Фифио вертится вокруг меня в поисках подходящего

* Алиса Дерен (1884–1975) – жена художника Андре Дерена.

места и наконец находит его на столе, за которым я пишу, удобно устраиваясь в грудах книг, словно в гнезде. Иногда он слегка поклевывает мою левую руку, остающуюся неподвижной.

Алиса, сидя возле меня, рассказывает историю о любимой курице своей матери. Поскольку раньше они жили на Монмартре и у них не было ни двора, ни сада, курицу они держали на чердаке. Случилось так, что однажды ночью крыса отгрызла ей лапу. Мать Алисы, охваченная жалостью к несчастной, полюбила ее еще сильнее. Она смастерила маленький деревянный протез, который позволял ее питомице ходить, и та с ним очень быстро освоилась. С тех пор в доме с утра до ночи слышался стук деревянной ноги по лестнице – вверх-вниз, вверх-вниз, – курица постоянно поднималась и спускалась, чтобы себя развлечь. Такое несчастье и такое сострадание, вкупе с таким оригинальным исцелением, сделали Хромоножку существом более умным и чувствительным, чем ее собратья.

Элиза отремонтировала обитель своих девочек, и теперь они наслаждаются новообретенным комфортом, а Фифио, вернувшийся из дальних странствий, вкушает все прелести общения с ними, не разделяя их заточения. Усевшись напротив, он подолгу смотрит на них и порой приближается, чтобы поведать той или другой о своих подвигах. Однако, даже будучи всецело поглощен беседой, он все-

гда замечает, если я приоткрываю окно, чтобы понаблюдать за этой сценой, – и тогда он неотразимым движением изгибает шею, всматривается в густые заросли бузины, скрывающие меня от него, и, обнаружив в них просвет, обращается ко мне с нежным воркованием, означающим, без сомнения, что он не остался равнодушным к благосклонному вниманию высшего существа.

Бланшетт, добрая толстая Бланш, такая миролюбивая, такая спокойная, не спешит к общей кормушке за своей порцией; приходится даже изолировать ее от остальных, чтобы она поела у себя в углу. Что же с ней случилось? Больше всего похоже на ревматизм. Вечером Элиза наполняет грелку горячей водой, кладет ее в корзину и сажает Бланш сверху. Затем относит корзину на кухню, где мы почти всегда обедаем, а зимой к тому же проводим большую часть времени, когда не спим. Новая деталь интерьера выглядит забавно и радует глаз, тем более что Элиза укрыла корзину старой кружевной занавеской, и теперь она напоминает колыбель. Бланш безропотно переносит все эти манипуляции. Но вот к ней собираются подселить Фифио. Последнему это явно не нравится. Он привык, что его спальное место всегда предназначено для него одного, и сегодня вечером тоже не собирается ни с кем его делить. Всеми возможными способами он пытается выбраться из корзины,

чтобы переломить волю Элизы и навязать ей свою, но в данном случае он противостоит единственному на свете существу, еще более упрямому, чем он сам. Элиза укутывает корзину так плотно, что в конце концов Фифио вынужден сдаться. Разморенный теплом, он засыпает рядом с Бланш, уснувшей еще раньше.

На следующее утро, готовя себе кофе,
230 я слышу доносящиеся из корзины щебет Фифио и кудахтанье Бланш. Их голоса звучат слегка приглушенно и порой прерываются – это скорее оживленная беседа, чем бурный спор. Мне любопытно, что же между ними произошло.

Заслышав мое приближение, Фифио вновь пытается освободиться и нетерпеливо возится в корзине. И вот наконец он на свободе. Его не узнать! Взъерошенный и совершенно ошалевший от радости, он вылетает за порог и начинает исполнять какой-то несусветный и неистовый боевой танец – словно подросток, впервые успешно опробовавший свое оружие.

Затем, словно для того, чтобы лучше выразить мне свое состояние или просто меня удивить, он изображает грифона – прижав лапы к животу, демонстративно выставив бледно-золотистые когти и вздыбив гребень, он взлетает вверх, почти на уровень моего лица, одной лишь силой крыльев, которые просто слегка разводит в стороны, даже не трепеща ими в воздухе.

Канарейки и воробьи

Клетку с канарейками я вывесил на дерево за окном – и теперь наблюдаю, как, сидя на одной и той же ветке, вольная птица и птица заточенная сближаются, братаются и пируют вместе, разделенные лишь тонкими прутьями. Разве что одна из них вольготно сидит на жердочке, а вторая, вынужденная прибегать к акробатическим трюкам, чтобы добраться до кормушки, постоянно опасается какого-нибудь подвоха и вздрагивает при малейшем шорохе.

Но вот снаружи их становится уже двое. Второй гость – одноглазый.

Ободренные моим невмешательством, они уже влетают в окно и клюют зерна, случайно просыпанные мною на стол.

Теперь у меня не осталось сомнений: канарейка-метиска флиртует с этими бандитами.

Вернувшись к себе на крышу, они какое-то время оспаривают друг у друга унесенную добычу, но, конечно же, не забывают и о сердечных делах: пока один ест, другой навещает пленницу и любезничает с ней.

Так демон способен взволновать ангела – разумеется, ангела не без изъяна.

Я наблюдаю за канарейками и воробьями во время воздушной тревоги и вижу, что они (в отличие от испуганных людей, спускающихся в подвалы) не обращают внимания

ни на нее, ни на меня – они беззаботно кокетничают друг с другом и совершают свои привычные маневры, которые то разделяют их, то сближают, – словно бы ничего и не происходит вокруг, словно они обитают в каком-то закрытом непроницаемом сосуде, каком-то отдельном мирке, не подверженном тому проклятью, которое довлеет только над нами. Одни постоянно обкрадывают других, но не вызывают с их стороны иной реакции, кроме веселого любопытства – жертвы ограбления не только не проявляют никаких признаков раздражения, но и сами как будто подбадривают опасных визитеров, побуждая их не стесняться. Но полукровку, которая всё воскресенье выходила из себя, требуя, чтобы я поместил ее в заточение, – может быть, ради удовольствия разделить заточение Орфея, которого она тогда еще предпочитала своей свободе, – заботят совершенно другие вещи: под ее белым крылом, испещренным черными пятнами, бьется порочное сердце, и, поскольку ей уже наскучило сеять раздор среди своих соплеменников, которых она целыми днями заставляет плясать под свою дудку, теперь эта новая Эвридика решила унизить того, кого она покорила накануне, перед пришлым авантюристом, которого она собирается завоевать сегодня. Разумеется, она выбрала самого наглого, и теперь, побуждаемая жаждой жизни и пылом юности, всеми силами пытается соединиться с ним: она как можно тес-

нее прижимается к прутьям клетки, чтобы тереться о его брюшко своим, и позволяет ему обнять себя крыльями. На мгновение их клювы соприкасаются, и кажется, что они шепчут что-то друг другу. При виде столь бесстыдной сцены соблазнения Орфей демонстрирует истинное благородство, настоящее поведение джентльмена – он не требует от нее, подобно остальным, соблюдения правил хорошего тона, полагая, что ему достаточно соблюдать их самому и оберегать репутацию Эвридики во имя того, что есть у них общего, несмотря на все различия, – происхождения и семейных уз, – от позора и бесчестья, которые ее развратное поведение, вызванное душевной слабостью, угрожает навлечь на них обоих. Эта душевная утонченность, эта невозмутимая изысканность – несомненные признаки того, что принято именовать Породой.

Канарейки и воробьи на моем окне так хорошо ладят между собой, что порой я спрашиваю себя, не в силах различить – уж не канарейки ли снаружи и не воробьи ли внутри клетки? Но сегодня это поистине революционное событие произошло на самом деле – хотя канарейки не вылетели наружу, воробьи проникли внутрь, взломав плохо закрытую дверцу, после чего уже не смогли выбраться. Последовал ужасный переполох, которому я положил конец, одного за другим вытащив захватчиков наружу и отпустив, – к великому разочарова-

нию законных обитателей клетки, для которых это непрошенное вторжение, эта кратковременная оккупация, внесшая разнообразие в их монотонное существование взаперти, отнюдь не стала чем-то неприятным.

Элиза соорудила для своих кокоток новую обитель – настоящий дворец, увитый зеленью, – несомненно, в честь появления еще одного петуха, по имени Виктор, которого недавно преподнес ей в подарок Жан Кокто.

Решив проявить осторожность, Виктор сразу же удалился в свои личные апартаменты. Оставшиеся без кавалера дамы то и дело заглядывают к нему, хотя, кажется, смотрят на него в первую очередь как на диковинного зверя, если не монстра.

Он белый, и только одна Бланш, судя по всему, прельстилась им. Хотя она все еще слегка хромает из-за своего ревматизма, она, – возможно, благодаря появлению Виктора, – выглядит весьма оживленной и довольной – постоянно болтает, кудахчет и разве что не поет. Когда ее товарки объединяются против пришлого самца, она единственная встает на его сторону и защищает его – то ли потому, что она одна белая, как и он, то ли потому, что она моложе остальных.

Те в свое время видали кавалеров и получше. Светло-коричневая курица и еще одна, родайлендской породы, обе уже в преклонных годах, кажется, готовы его убить.

Стоило мне ненадолго забыть о клетке с канарейками, которая осталась в саду с наступлением темноты, – как вдруг, вернувшись за ней, я обнаружил, что перышки и лапки птиц покрыты кровью. Что же произошло? Скорее всего, они заснули, и крыса или кошка поцарапали или покусали их сквозь прутья.

Словно чей-то голос произносит: «Что это за мир, в который ты забрела, бедняжка Элиза, – мир, где всем, от мала до велика, грозит опасность на каждом шагу?»

Напротив нас живут люди, которым, кажется, больше нечем заняться, кроме как целыми днями наблюдать за моими птицами – и если на беду мне случается слишком поздно забрать их в дом или оставить на какое-то время под дождем или на ярком солнце, эти соседи начинают возмущенно меня звать, а когда я появляюсь – осыпать горькими упреками.

Если они попробуют снова, я, пожалуй, напишу на клетке огромными буквами, чтобы они смогли их разглядеть: «Птицы-мученики».

Привыкшие к своей замкнутой жизни, наши куры стали настолько целомудренными, что совершенно равнодушно относятся ко всем этим смешным приставаниям, топтаниям, акробатическим кульбитам и прочим сумасбродствам, которыми новоприбывший петух поочередно донимает каждую из них. Холодность постепенно перерастает

в агрессию: каждый раз, когда Виктор выходит из своих покоев, на него обрушивается град клевков, и он в ужасе прячется обратно.

С наступлением ночи, когда наш надзор прекращается, ему становится еще хуже. Однажды, по счастливой случайности, бдительная и к тому же страдающая бессонницей Элиза решила в два часа ночи проведать своих подопечных – и что же она обнаружила? Дрожа от холода и страха (возможно, еще и от смущения после побоев), бедный Виктор, вышвырнутый из своего дома, словно изгой, съежился у самых дверей курятника. Разгневанная хозяйка немедленно восстановила его в правах – и вот он, бесславный триумфатор, вновь расположился среди этих тайных апологеток Лисистраты, жестоких и враждебных. Больше в эту ночь уже никто не спал – ни он, ни они, ни мы.

Сегодня утром Виктор впервые запел в своем увитом зеленью дворце. Было без четверти пять утра.

Восстановит ли эта утренняя песнь его авторитет? Видимо, не сразу. Его соседки столь жестоко и решительно отгоняли его от кормушки с хлебом и зерном, что он порядком отощал.

Я надеюсь, что отныне роли поменяются и он подчинит их, при необходимости с помощью клюва и когтей. И только Бланшетт, которая никогда его не обижала, достанется вся его нежность.

Нет, Бланшетт оказалось не суждено познать ласки Виктора. Элиза, вернувшись с рынка, где ничего не купила, решила приговорить ее к смерти, ссылаясь на то, что она перестала нестись и постоянно пьет воду.

Виктору предстоит лишиться своей единственной подруги.

В тот же вечер, когда меня не было дома, доктор Дебле, наш доктор-Чума, не заботясь, как всегда, ни об осторожности, ни об аккуратности, зарезал Бланшетт. Весь курятник присутствовал на этой – чуть не написал «мессе» – казни. Фифио, как мне потом рассказали, демонстрировал еще большее безразличие, чем все остальные, – до такой степени, что даже подошел к столу, служившему жертвенным алтарем, и выпил несколько капель стекавшей с него крови, – но проделал это всё с тем же рассеянным видом и не стал задерживаться, словно этот поступок был лишь констатацией свершившегося или частью какого-то жестокого обряда, а возможно, и объявлением о предстоящей мести. Воспоследовало всеобщее забвение – обитатели курятника вернулись к своим обычным занятиям. Однако же почему Фифио с наступлением ночи, вопреки своим мирным привычкам, впервые укрылся за подвальным котлом, спрятавшись в единственном месте во всем доме, где мы физически не могли до него добраться и вытащить его оттуда, – если не потому, что любой ценой решил избежать ночевки в баке для кипячения

белья, который накануне делил с приговоренной к смерти Бланшетт, и оказаться вне нашей досягаемости? После того как она погибла, попав к нам в руки, Фифио, наученный чужим горьким опытом, решил отказаться от былых привилегий, сочтя их смертельно опасными. Лучше уж спать на голой земле, чем подвергаться риску в свою очередь быть уничтоженным. Не объявляя нам войны, Фифио своим затворничеством все же решил продемонстрировать нам свое недоверие.

Виктор, петух Жана, больше не приветствует рассвет, то ли погруженный в траур, то ли питающий надежду отвратить, отсрочить наступление дня, который может стать последним для него или для кого-то из его сородичей.

Перед этими существами, скрытными, но смутно обо всем догадывающимися, тщетно держать себя как ни в чем не бывало – сколько бы убийца не скрывал своих намерений, они его разоблачат. Больше не стоит притворяться, что ты их любишь; Элиза трижды честно пыталась противостоять необходимости, неотменимости законов жизни, и в конце концов предпочла вернуться к своей изначальной искренности. Я – нет.

Порой меня возмущает непоследовательность тех, кто отказывается убить животное, но потом без всякого смущения его ест. Да, я не смог убить Бланшетт, но я не спорил

с Элизой, которая попросила меня это сделать, полагая ее в своем праве, не нарушающей границ допустимого.

Бланшетт, добрая толстая курица, которая засыпала возле меня, как собачонка, и всегда смотрела на всех, склонив голову, взглядом неискушенной воспитанницы монастыря, не в силах противостоять никому, кто бы ее бранил или ласкал…

Я не нанес ей смертельный удар, но связал ей лапы перед тем, как трусливо ушел из дома.

Любовь? Смерть? Поскольку он петух, смерть Бланшетт его глубоко опечалила. Поскольку она курица, она любила Виктора в своем заточении. Так или иначе, речь идет о любви, и только о ней. И, без сомнения, она принесла с собой некую перемену, что-то новое. Фифио перестал быть тем беззаботным созданием, которым мы знали его прежде. Он уже не тот – ни наедине с собой, ни с нами. Он стал нервным, рассеянным, начал избегать нас. Особенный страх он теперь испытывает перед домом, где ему довелось разделять убежище с Бланш накануне ее смерти. Он постоянно ищет укрытия в тени деревьев, окружающих курятник. Его сородичи приобрели союзника в его лице, а мы, напротив, потеряли, словно он всеми возможными окольными путями дал нам ощутить свой ужас перед убийцами, которыми мы, по сути, и являемся.

Неделю назад Элиза сказала мне: «Ты знаешь, теперь я в этом уверена. Он – курица. Наша Фифиолетта поет точно так же, как курица, которая собирается нестись». И вот произошло следующее. Вчера во второй половине дня Элиза и Фифио расположились в одной комнате. Она лежала на кровати и вязала, он расхаживал туда-сюда вдоль черных стен, изредка

останавливаясь, чтобы полюбоваться висящими на них гобеленами, и ненадолго сливаясь с ними, как бы становясь частью вытканного на них узора. В какой-то момент он обратил внимание на плюшевую подушку цвета своего гребня и начал всячески ее обхаживать – крутиться вокруг нее, тереться о нее, топтать ее, прикрыв глаза от наслаждения, – но вот он снова широко их распахнул, словно завороженный собственной красотой, внезапно представшей ему в висящем напротив зеркале. Подойдя вплотную к нему, Фифио смерил взглядом отражение с головы до ног, словно вызывая соперника на бой, и ударил клювом о зеркальную поверхность. Затем принялся водить им вправо и влево, вверх и вниз, пытаясь добраться до неуязвимого врага. После нескольких бесплодных попыток он решил с размаху наброситься на жертву и изобразил грифона: взмыл в воздух, поджав лапы и распахнув крылья, которые держал почти неподвижно, лишь слегка подрагивая ими, – и всем телом ударился о зеркало, после чего, оглушенный, упал на пол. С ненавистью

глядя на отражение, он попробовал еще раз, но весь его бойцовский пыл оказался бесполезен. Именно этот момент полного отчаяния выбрала Природа, чтобы совершить коренной переворот, которого мы так ждали.

Фифио вытянул шею, которая от гнева как будто удлинилась еще больше, и раскрыл клюв – сначала беззвучно, словно горя нетерпением обругать противника, которого так и не смог ударить. Еще одна попытка – и снова тишина. Но на третий раз – браво! – из его горла вырвался хриплый клекот, еще не оформившийся в мелодию, но решительный.

«Это петух!» С такой мыслью Элиза решила вмешаться и подбодрить его, для чего, в свою очередь, испустила звонкое «Кукареку!» Побуждаемый ее примером, словно прилежный ученик, которому учитель пения задает тон или ноту – в данном случае «ля» – Фифио принялся упражняться, пробуя различные вариации, и постепенно начал извлекать из своей грубой хрипловатой лиры звуки всё более четкие и гармоничные. Урок продолжался весь вечер с небольшими перерывами на отдых, и по мере того, как результаты его усилий становились всё лучше и лучше, Фифио продолжал петь всё более вдохновенно, трепеща от радости и вытягиваясь в струну всем телом, от верхушки гребня до кончиков когтей. Голос его разносился всё дальше, и регистр постепенно расширялся, от самых низких и торжественных до ликующе-звонких нот.

– Это петух!

Отныне Фифио стал таким же представителем племени домашних птиц, как и все остальные. Едва лишь за ним закрылась дверь курятника, его королевское великолепие померкло, и он замер без движения подальше от своих собратьев и поближе к решетке, оживляясь и начиная особым образом щебетать лишь при моем приближении. Из прежнего баловня, которого постоянно холили и лелеяли, он, достигнув совершеннолетия, превратился в изгнанника – так подросток покидает родительский дом, уходя в колледж или в армию. Однако он держался как подобает существу его ранга и, судя по всему, ничуть не был огорчен. Напротив, он словно выправился, приобрел горделивый и мужественный вид и, казалось, порой испытывает удовольствие, притворяясь, что не узнает нас, и отказываясь нежничать со мной, как раньше. Впрочем, он и в новом своем статусе наслаждался определенными прерогативами и новыми правами, которые пришлись ему больше по вкусу, чем наши ласки. Теперь он мог больше не подчиняться законам, которые устанавливала Элиза. Здесь он был господин и повелитель. Он обустроил себе почетное место, сам его выбрав и отвоевав от чужих посягательств. Без сомнения, он попал в свою настоящую семью. Это я, отныне чужой для него, остался один, чувствуя себя неуютно в собственном доме, который он покинул. Моя всегдашняя склонность воспринимать себя обычным жи-

вотным привела к тому, что сейчас я тоскую без него. В сущности, я был полностью доволен собой и окружающим миром, лишь когда общался с животными, без всякой сдержанности и настороженности; возможно, именно благодаря их молчанию мы лучше друг друга понимали. Элиза говорит так мало, что это настоящее чудо.

Две наши курицы, одна породы суссекс, другая – фавероль, с самого детства походили на куропаток. Их пышные воротники были одного и того же покроя, разве что у одной оперение было более светлым, а у другой – темно-серым. Однако постепенно разница между ними становилась всё более заметной, по мере того как они взрослели, и стала очевидной, когда они стали полноправными участницами своей гильдии, в которой профессию выбирают не по призванию, а по неизбежному, определенному заранее предназначению.

Наш птичий двор обогатился еще одним, довольно редким экземпляром – курицей породы маран, бретонского, можно сказать вандейского происхождения. Огромными глазами и слегка изогнутым клювом мадам Корбо* – такое имя мы ей дали – напоминает ночную хищную птицу, а очертаниями и размером – ворону. Черная, нелюдимая, она почти неви-

* Corbeau – ворон.

дима в темном углу, где ей больше всего нравится сидеть, – ее присутствие выдают лишь зеленовато-золотистые искорки света на ее оперении, похожие на блестки, и странные издаваемые ею звуки, которые больше напоминают ржание, чем кудахтанье.

Элиза рассказывает: «Мадам Корбо собралась нестись в первый раз. Она выглядела очень встревоженной, как будто не понимала, что происходит, и все ее товарки собрались вокруг гнезда, кудахча, чтобы ее подбодрить. Самая опытная из этих кумушек, мадам Нуар, ради вящего воодушевления взлетела на дверь и запела, как будто дело уже было сделано».

Фифио, ставший важной персоной на птичьем дворе, красуется среди дам и девиц, своих нынешних или будущих любовниц; с высоты своего Олимпа он едва смотрит на нас. Однако что-то его гложет – это заметно, когда нам случается проходить мимо в компании нового цыпленка: он сожалеет о своих былых привилегиях, которые, возможно, полагал уникальными, предназначенными только для него. Он наверняка вспоминает о моем поясе, пригревшись за которым, когда-то видел свои первые сны.

Вдохновившись примером мадам Корбо, мадам Нуар снеслась даже раньше нее. Это событие вызвало настоящий переполох на всем птичьем дворе, где сейчас остались только со-

всем молоденькие курочки и петушки, – можно было подумать, что никто из них раньше не видел яйца и не знает, что это такое.

Я смотрю на Элизу, расположившуюся на кухне с выводком цыплят у ног. Мать-наседка наблюдает за ними издалека, сидя в гнезде, выстланном древесной стружкой. Всё вместе являет собой умиротворяющее зрелище в центре нашего апокалипсиса.

У животных разный уровень интеллекта, так же как у нас. Скорее всего, это в большей степени зависит от конкретного существа, чем от вида, хотя это спорный вопрос. Например, курица породы суссекс, хотя ей столько же лет, сколько ее подружке породы фавероль, уже знает, что дерево теплее, чем плитка. Когда другая тоже это заметит? Возможно, первая обладает большей чуткостью, как все существа ее пола – вскоре выяснилось, что курица фавероль на самом деле петух.

Утром я подхожу к курятнику, и Фифио склоняет передо мной голову, словно прося благословения. Другие, возможно, тоже поучаствовали бы в этой игре, но я не удостаиваю их внимания.

– И Фифиоле позволяет тебе его гладить? – спрашивает Элиза.

– Да, сколько угодно. Ему это нравится.

– Зря ты это делаешь. Он может из-за этого пострадать после того, как ты уйдешь.

– Он вполне способен за себя постоять. Если у него и будут неприятности из-за того права, которое он получил благодаря мне, – смотреть на своих собратьев сверху вниз, – что ж, это справедливо.

Но, конечно же, на самом деле я до глубины души растроган почестями со стороны этого маленького гордого существа, которое, едва завидев меня, склоняется в знак приветствия и, закрыв глаза, подставляет мне свой гребень, который я могу гладить и перебирать пальцами в свое удовольствие – он никогда не отстраняется первым.

Есть курятину и есть курицу, которую ты растил, холил и лелеял, которой дал имя – например, Кармелитка, – это совершенно разные вещи, которые отличаются друг от друга так же, как случайное убийство от предумышленного, как плотоядность от каннибализма. С того момента, как живое существо получает имя, оно перестает быть частью абстрактной плотской массы и переходит в распоряжение человека, который его кормит. Убивая своего питомца, так или иначе убиваешь «личность», и каждый глоток становится укором, если только не делаешь его с особым благоговением.

Что творится на лестнице? Я слышу птичий гомон. Это Финетт и Простушка пришли меня проведать, стоило лишь оставить входную дверь приоткрытой. Они уже дошли до лест-

ничной площадки между первым и вторым этажом, но затем, преодолев еще пару-тройку ступенек, оказались в неосвещенной зоне и теперь зовут меня, чтобы я включил свет. Как только я поворачиваю выключатель, они бросаются ко мне, и я угощаю их конопляным семенем, которое они принимаются клевать, одновременно изгибая шеи, словно диковинное создание с двумя головами.

Начало холодать. Вчера вечером изобретательная Элиза устроила в кухонном шкафчике возле калорифера дортуар для домашней птицы. Никто бы не догадался, прежде чем открыть дверцы, о том, что скрывается за ними, – вся наша теплая компания, счастливая и довольная, в полном составе: наверху Виктор, петух Жана, и Фифиоле, вплотную друг к другу, в окружении своего гинекея; внизу новички – Финетт и Простушка с одной стороны, Бубуль и Барбишетт с другой. Последние, лишь недавно поселившиеся у нас, не имеют права подниматься наверх и вообще особо шевелиться – их болтовни и без того достаточно. Стоит кому-то завозиться чересчур энергично, он тут же получает сверху удар клювом, чтобы не нарушал покой и сон остальных соплеменников. Но в целом атмосфера самая благостная. Глядя, как плотно и аккуратно разместились наши постояльцы на своих полках, словно тарелки в посудном шкафу, я готов простить им любые неудобства, которые

они вносят в наш привычный жизненный распорядок.

Однако через пару дней курица породы маран, которую мы прозвали «мадам Корбо», решила продемонстрировать свой независимый характер или анархические убеждения – она выбралась из своего убежища, по-хозяйски прошла через всю кухню и взлетела на крышу клетки с канарейками. Там она и обосновалась, всячески давая понять, что нет ничего более странного и бесполезного, чем упрашивать ее спуститься, – это место подходит ей больше, чем любое другое. То ли опасаясь ее возмущения, если не открытого бунта, то ли сочтя этот демарш, по большому счету, оригинальным, даже не лишенным очарования, Элиза поначалу согласилась на временную уступку мадам Корбо, а в конце концов сделала ее привилегию постоянной. Но самое удивительное, даже экстравагантное, то, что соседство этой зловещей черной колдуньи совершенно не смущает и не пугает обитателей клетки, больше того – не создает для них ни малейших неудобств. Им как будто это нравится. Даже если время от времени мадам Корбо изливает – не по злому умыслу, лишь по недосмотру, – струю горячей дымящейся лавы на чье-то яркое оперение, наши канарейки находят и это вполне естественным, даже забавным. Возможно, для них больше значит сама необычность этой ситуации, чем связанные с нею неудобства – и кто знает, не находят ли они

ее в чем-то выгодной? По мере того, как день клонится к вечеру, их всё больше привлекает тепло этого распростертого над ними живого облака густых темных перьев, похожего одновременно на мягкую перину и большую грелку, которое так надежно защищает их от ночного холода и тьмы, что им даже нет необходимости вплотную к нему приближаться.

По утрам, в половине четвертого, когда я спускаюсь на кухню и начинаю возиться с завтраком возле их убежища, я всякий раз умиляюсь, когда они, пробудившись, меня приветствуют, Фифио в первую очередь – весь дом оглашается его победной утренней песнью.

Тут же просыпаются канарейки, и когда я включаю воду, чтобы сварить кофе или ополоснуть лицо – звуки бегущей воды почему-то сильнее всего их возбуждают, – они тоже начинают петь, и громче всех звучит мелодия Орфея, повторяясь, как церковный антифон.

Только куры продолжают спать посреди этого концерта – и еще Элиза, сколько бы я ни ходил вокруг ее кровати. Пение петуха для одних и рабочий день мужа для другой – обычный утренний фон, который ничуть не мешает сну. Они не только не тревожат себя по таким пустякам, но, кажется, готовы проспать Царствие небесное.

Мы с Фифио соревнуемся, кто утром раньше проснется – и он побеждает реже.

Однако, когда он начинает петь, голос его подобен трубе, призывающей на Страшный Суд. Я не знаю, какому знаку он повинуется и какой мир пробуждает, но поистине этот голос способен воскресить мертвых – *tuba mirum!*[*] Думаю, даже ангельская труба вряд ли заставила бы меня воспрянуть ото сна быстрее и решительнее, пробудив и самую глубоко
250 спящую мою часть, и созерцание Божьего лика не потрясло бы меня до основания с такой силой, как ежеутренняя песнь моего петуха, которая словно бы каждый раз снова посылает меня в этот мир, столь совершенный, несмотря на злую волю населяющих его людей, и встречающий меня столь звонкими и торжественными фанфарами.

Да, наш Фифио – настоящий петух, он создан для того, чтобы держать весь птичий двор в повиновении. Но увы, кур у нас всего четыре. Обычному петуху нужна дюжина. Однако Фифио, по словам знатоков, нужно больше – хорошо бы два десятка. К тому же из четырех кур только одна находится в детородном возрасте, и она уже старовата. Она, конечно, покоряется Фифио (да и как бы она могла сопротивляться?), но слишком быстро устает и к вечеру совсем выбивается из сил. Вторая, мадам Корбо, не более расположена совоку-

---

* Слова из католического песнопения Dies Irae («День Гнева», Судный День): Tuba mirum spargens sonum – «Трубы чудесный звук разнесется» (*лат.*).

пляться с ним, чем тьма со светом или сова с лебедем, и всячески демонстрирует свою неприязнь. Вдобавок бедняжка некрасива. Помпон еще слишком юна, так же как Простушка и Финетт. Барбишетт, забавная курочка с бакенбардами, которые делают ее похожими на метрдотеля респектабельного заведения, лишь недавно вышла из детского возраста и не желает общаться с Фифио иначе как лицом к лицу, глаза в глаза. Мы каждый день сомневаемся, не стоило бы дать ей мужское имя – яиц от нее мы, скорее всего, не дождемся. Дерзость этой пигалицы приводит Фифио в ярость, и нам приходится постоянно быть настороже, чтобы он не причинил ей вреда, – тем более что она постоянно охраняет от его посягательств свою единокровную сестру, Бубуль, которую мы еще называем Помпон, чья добродетель, судя по всему, важна для нее так же, как своя собственная, и она готова защищать ее даже ценой жизни. Однажды во время схватки Фифио с этой юной воительницей мы не успели вовремя разнять их, и она, поскольку никак не хотела уступать, оказалась весьма потрепанной.

Из-за того, что его ненасытный темперамент приходит в столкновение с постоянной неудовлетворенностью, Фифио становится всё более раздражительным. Словно бык на красную тряпку, он в ярости кидается на всё, что хотя бы отдаленно напоминает объект его желаний и позволяет ему удовлетворить свою

страсть, – будто то кроличья шкурка, забытый башмак или сохнущее белье. Он доходит до того, что набрасывается даже на Элизу – стоит ей наклониться, он взмывает в воздух и лихорадочно бьет крыльями, пытаясь ее оседлать. Иногда он вцепляется когтями ей в бедро или в живот, готовый выклевать ей глаза, если она не уступит его домогательствам. Такая угроза представляется вполне реальной, особенно с тех пор, как графиня, наша приятельница, некстати рассказала, как жена одного из ее земледельцев-арендаторов пострадала в сходных обстоятельствах: петух так сильно клюнул ее в лицо, что пробил правую щеку насквозь.

– Ты злой, жестокий и опасный! – воскликнула однажды утром Элиза в приступе раздражения. – Всё, хватит! Завтра ты умрешь. Наслаждайся своим последним днем.

В ее голосе звучала такая непреклонность, такая неотвратимость, предначертанность этого трагического будущего, такая могущественная твердость и абсолютная убежденность, словно бы всё уже свершилось – так в античных трагедиях действует воля рока, Ананке. И я принял этот удар на себя.

На следующее утро мне удалось добиться отсрочки приговора.

Помпон подросла и, в отсутствие своей сестры с бакенбардами, готова познать радости пло-

ти; мадам Корбо покорена, мадам Нуар тоже в полном его распоряжении. Пока я пью кофе в кухне – в половине пятого утра, – Фифио наслаждается семейным счастьем в компании трех своих удовлетворенных супруг. Когда он начинает петь, даже в его привычном утреннем гимне звучат новые нотки. Это уже не триумфальная, скорее, романтичная песнь: вместо резких звуков флейты и барабана раздается мягкая струнная мелодия, приглушенная, словно идущая из самой глубины души, предназначенная в первую очередь для самого себя – но вот ее больше не получается удержать, она вырывается наружу – и еще прежде, чем Фифио раскрывает клюв, чувствуется, что он счастлив.

Вчера Фифио заснул, прощенный и обласканный, на коленях умиротворенной Элизы, наверняка мечтая о том, что скоро будет гулять в саду со мной, раз уж вернул себе право доступа куда угодно, – и только это имеет значение. Еда, любовь, тепло, прощение Хозяйки и дружба, которая скрепляет нас двоих, – чего еще желать на Земле? В глубине своего теплого пристанища, в окружении трех верных поклонниц и в компании себе подобных, в присутствии двух богов-покровителей, которыми являемся для него мы, и единого Бога, единственный Завет которого он неукоснительно исполняет (в буквальном, музыкальном смысле) каждое утро, – разве может он жаловаться на судьбу и сомневаться в своей участи, наш Фифио?

Нет ничего более волшебного и чарующего, чем этот шкаф в глубине кухни, из-за закрытых дверей которого весь вечер слышится шорох, возня, квохтанье и кудахтанье – сначала обитатели спорят за лучшее место, потом постепенно рассаживаются и начинают негромко разговаривать перед сном или во сне, уже засыпая. Столь тепла и трогательна семейная близость этих пяти существ, разных возрастов и пород, но одного вида, что они словно бы являют собой одно общее сердце, средоточие жизни всего нашего дома.

Катастрофа.

Сегодня утром, проснувшись, как всегда, ни свет ни заря, я спустился по лестнице, и тут мне в ноздри ударил отвратительный запах. Я вспомнил, что накануне вечером у нас отключились одновременно газ и электричество, прервав семейный ужин. В темноте ни я, ни Элиза не вспомнили о том, чтобы выключить плиту, прежде чем уйти из кухни.

«Все наши животные мертвы!» – промелькнула у меня мысль.

В один миг распахнув настежь окна, я бросился к птичьему шкафу.

Фифио единственный оставался на ногах, хотя и пошатывался, среди неподвижных тел своих жен, которые вповалку лежали у его ног, лишь слабо помаргивая глазами.

На улице шел снег. Тем лучше. Иначе они бы наверняка задохнулись.

Не теряя ни секунды, я вытащил их наружу и разложил на плотном белом покрывале, словно специально расстеленном для них на крыльце. Некоторые слабо трепыхались. Я стал поочередно поднимать тех, что выглядели совсем плохо, и дышать им в раскрытые клювы. Понемногу они ожили и зашевелились. Но все в той или иной степени были отравлены угарным газом и погружены в некое странное оцепенение, напоминающее частичный паралич, которое никак не могли с себя полностью стряхнуть.

Чтобы привести их в чувство, я придумал следующее – принес железный садовый столик и стал поочередно усаживать на него наших кур, которых мне передавала прибежавшая на помощь Элиза, а затем сбрасывать их в снег, предварительно позаботившись о том, чтобы пошире развести им крылья и максимально смягчить падение. Вскоре они уже распахивали крылья сами и приземлялись почти без всяких затруднений. Сначала они стояли на снегу, слегка пошатываясь, затем, чувствуя, как замерзают лапы, начинали подпрыгивать, чтобы согреться. Видимо, радость спасения на самом краю гибели придала им сил, и вскоре они уже самостоятельно взмахивали крыльями и взлетали на насест. Немного подогретого вина – и их самочувствие еще больше улучшилось. К полудню они уже были такими, как всегда.

Рождество 1943 года

Элиза:

– Это было как бальзам на душу – издалека доносилась музыка, а в полночь Фифио впервые перепутал время и присоединился к канарейкам, которые подпевали *Te Deum*. Казалось, весь дом запел. И я тоже пела, и ты, и фисгармония под твоими пальцами…

С наступлением весны Фифио всякий раз встречает меня в саду, стоит мне войти, как будто нарочно меня поджидает, но не бросается сразу мне навстречу, а приближается степенно и сдержанно, хотя и щебечет вовсю. Этот теплый прием, который он оказывает только мне, наполняет меня гордостью. Забыв всю свою суровость и надменность, он с деланной покорностью склоняет гордую голову, словно восхищаясь мной; затем, слегка присев и по-кошачьи выгнув спину, позволяет мне себя гладить и даже (это моя исключительная привилегия) перебирать в пальцах его гребень, похожий на большой пылающий цветок – он едва умещается между моих ладоней. Сколько бы я не сжимал его и не теребил, Фифио никогда не отстраняется первым, и я не оставляю его прежде, чем пропущу сквозь пальцы его серьги, свисающие по обе стороны клюва, и роскошный султан его хвоста, который с каждым новым прикосновением вздымается всё выше, словно противостоя малейшим попыткам пригнуть его к земле. За-

стыв на месте и устремив взгляд в одну точку, он терпеливо, словно в молитвенном сосредоточении, позволяет мне проделывать все эти манипуляции, но лишь затем, чтобы внезапно взять реванш – в какой-то момент он вцепляется в мое запястье и начинает клевать его, однако не слишком сильно, как будто заботится о том, чтобы не поранить меня до крови. Однако если мне случается резко отдернуть руку, он, забывшись, может отщипнуть крошечный кусочек кожи. Но еще прежде, чем я успею нанести ответный удар, он спохватывается и припадает к моей ноге, широко разведя крылья, почти как лебедь, и шумно хлопая ими, словно веслами по воде.

Откуда же такое внимание, такое почтение, такой необузданный восторг? Может быть, причиной тому физическое тепло моего тела, которое он впитывал в детстве, когда я носил его под рубашкой, и которое он теперь пытается мне возвратить таким образом?

Всякий раз, когда Ивонна наблюдает из окна за нашими приветственными церемониями, она вздыхает и говорит: «Ах, как же это прекрасно!»

Сегодня вечером Фифио всё время посматривал на меня искоса, и когда я его в этом упрекнул, та же Ивонна мне возразила:

– Марсель, вы же знаете, что он не шпионит за вами – просто у него такая манера смотреть.

Иногда Фифио кажется мне божеством, которое, спустившись с небес, ограничило себя нашими пределами и стало внутренним солнцем моего сердца, дома и сада.

Ни одно животное не близко богу Солнца так, как петух, и, конечно же, ни один петух никогда не был настолько солнечным, как Фифио. Он вызывает всеобщее восхищение, и ни-

кто при виде него не может удержаться от восхищенных восклицаний и желания чем-то его порадовать.

Белый той же белизной не от мира сего, как свежевыпавший снег, лилия или стихарь священника, он всякий раз вызывает у меня трепет, когда при моем появлении приближается ко мне и склоняет передо мной свою тяжелую сверкающую корону. Как не ощутить в этом приветствии и в наших обоюдных обрядовых почестях отголосков какой-то незапамятной мифологии?

Столь юный, он уже обладает собственной историей, столь утонченный в своей красоте и силе – непререкаемой властью. В его величавой медлительности, в его проницательном взгляде чувствуется не только жизненный опыт, но и нечто всеохватывающее, почти божественное.

Не далее как сегодня вечером, желая, без сомнения, произвести впечатление на своих дам, а возможно, и на нас, он решил изобразить льва. В первый момент, услышав доносящий-

ся из кухонного птичьего шкафа клекот, который действительно напоминал рычание, я даже испугался. Может быть, он вспомнил услышанные когда-то в детстве звуки, которые издавали хищники из цирка, располагавшегося в те времена неподалеку от нас?

Он не дает нам никаких особых поблажек, никаких привилегий перед остальными своими подданными. Если он заснул, мы не имеем права громко разговаривать, кашлять, чихать, чиркать спичками, включать воду – в противном случае он всячески выражает нам свое недовольство. Раз уж он забрался в шкаф, значит, собирается спать, а для этого ему нужна тишина. При каждом очередном нашем нарушении распорядка его взгляд, обращенный к нам, становится всё более суровым.

Когда к нам приходят гости – как удержаться, чтобы не продемонстрировать им Фифио, нашу гордость?

Элиза в такие дни надевает белое платье с поясом из золотой парчи – одеяние языческой или восточной жрицы, которое придает ей вид Ифигении в Тавриде и соответствующие манеры.

Фифио ходит за ней по пятам, словно они оба принадлежат одному и тому же миру, одной и той же религии. Их одежды одинакового цвета, их походка одинаково торжественна.

Какая властность! – равная у обоих, но, хотя он поднимается раньше, именно она идет во главе процессии. Куда же она его ведет?

Вскоре в нашей белой гостиной, среди старой мебели из красного дерева, цветом напоминающего сгустившуюся кровь, разыгрывается настоящая мистерия, импровизированное религиозное действо: один ритуальный жест сменяется другим, и наши гости невольно вскрикивают от восхищения, особенно когда Фифио, заметив свое отражение в зеркале, начинает заново разыгрывать сцену своей инициации, и Элиза совершенно естественным образом принимает в ней участие. Они вместе поют, вместе танцуют; они следуют тайному ритуалу, который диктует им каждый шаг, начиная с выбора одежды и создания атмосферы. Эта игра, которой они столь самозабвенно предаются, напоминает какие-то древние таинственные обряды, ныне забытые. В них участвуют свет и – может быть, даже в большей степени – тьма, чьи сердца словно бы на миг соприкасаются, когда Элиза в порыве восторга поднимает высоко в воздух свою священную птицу, чьи мощные крылья закрывают ее руки почти до самых плеч, и целует ее в глаза, полузакрытые от наслаждения. В этот момент их очертания сливаются, дополняя друг друга столь идеально, что общая картина становится фантастической: кажется, что видишь перед собой мифическое создание, одно из тех существ, в которых есть что-то и от крылатого монстра, и от ангела, – в наши дни их можно увидеть только на древних барельефах Равенны и Сузы.

Кто-то спросит: «Как вы можете до такой степени интересоваться петухом? Это ведь существо с такой простой, примитивной психологией, все его реакции абсолютно предсказуемы». – «Тем более! – отвечу я. – А что вы скажете о той роли, которую отводят ему Сократ, а также авторы Евангелий? Для первого он – символ победы над Смертью, а четверо других свидетельствуют о том, как Иисус сделал его воплощением пробужденной совести, чей голос будет вечно звучать в ушах апостола Петра и всех тех, кто когда-либо проявил трусость или слабость».

Мари однажды сказала: «В петухе и правда есть нечто священное, какая-то тайная связь между его простой душой и Светом». Дважды я заставал Фифио за исполнением своей сакральной миссии, когда по утрам он издавал свой первый крик. Даже ария Первосвященника в третьем акте «Аталии», сопровождаемая пением арф, не звучала более трепетно, торжественно и вдохновенно. Бесполезно запирать его в четырех стенах или заточать в подземелье – петух всё равно знает, когда приходит Час, его Час – и надо видеть, как благоговейно он повинуется неписаному Повелению, восставая против Тьмы, как он напрягается всем телом, выгнувшись, словно натянутый лук, и изо всех сил издает свой победный крик, потрясая окутывающую его черноту, неумолимо разрывая ее, как плотную завесу, и взламывая врата Ночи, чтобы впустить День; по крайней мере,

в нем живет вера в то, что именно он является здесь главной действующей силой. Он словно чувствует себя в ответе за то, чтобы вернуть все предметы и всех существ этого мира на свои привычные места, возобновить течение жизни таким, как оно замерло накануне. Словно живые часы, созданные Творцом еще в начале времен и призванные служить вплоть до Судного Дня, он возвещает каждый новый день, исполняя свое предназначение. В тот день, когда петух не запоет, только ангел сможет заменить его, приняв на себя его священный долг. Да, Мари, ты права – в петухе действительно «что-то есть»: он – предстоятель Солнца.

Вчера я услышал, как месье Франсуа, профессор из колледжа Сент-Круа де Нейи, и его сын говорили о Фифио, и мне очень захотелось вмешаться, чтобы рассказать им, заставив их глаза блестеть от восторга, что петух в вашем дворе – это уже кое-что, но петух в вашей комнате – это гораздо больше, это удивительно и непредсказуемо. Правда, чтобы позволить себе такую роскошь, нужно обладать особым пристрастием к чистоте, таким, как у Элизы, которая не терпит вокруг себя ни пылинки, ни соринки. Каждое утро она вынимает из кухонного шкафчика импровизированный насест, на котором спят наши птицы, и, поливая его сильной струей воды из шланга, энергично отдраивает одну жердочку за другой, а потом выставляет сушиться на солнце.

Вечером, вернув насест на место, мы наблюдаем, как все наши постояльцы, собравшись на пороге, чинно выстраиваются в процессию и следуют друг за другом в спальню: мадам Корбо, мадам Нуар, Помпон, Простушка и Финетт, затем Фифио, и замыкает шествие Барбишетт. Первой устраивается мадам Нуар, затем начинается легкая толкотня и суматоха, но все быстро успокаиваются. В половине четвертого утра я спускаюсь в кухню, и при первых же звуках, сопровождающих мое появление, весь птичий дом сверху донизу начинает звучать, словно бы я мимоходом коснулся золотой раковины. Это Фифио, пробудившись, вновь обретает радость жизни, тут же объявляет о ней и приглашает нас ее разделить. Иногда, хотя и редко, мне случается задержаться, и тогда он отчитывает меня, призывая к порядку. Я как будто слышу его голос, в котором звучат нотки серьезного недовольства и упрека: «Ты опоздал! Как такое могло случиться?». Меня невероятно трогает этот голос, мужественный и властный, звучащий из самого глубинного уголка нашего дома, вибрирующий, чистый и звонкий, обращенный лично ко мне, который может упрекать меня в чем угодно, не вызывая во мне ни досады, ни сожаления, ни желания защищаться – разве что признать собственную лень.

Пока я пью кофе, я порой спрашиваю себя, не нахожусь ли посреди разрушенного потопом мира, в ковчеге патриарха Ноя, и не бесе-

дую ли с прародителем всех петухов, приветствуя его утренние распевы восторженными восклицаниями: «Браво, сын мой! Браво, мой король! Браво, друг мой! Браво, моя любовь! Браво, провозвестник Дня, объявляющий о его возвращении из Вечности! Браво, мой бог!» По его всё более воодушевленным ответным репликам я догадываюсь, что он не остается

равнодушным к моим хвалам, и наша тесная близость в этот ранний час столь драгоценна для меня, что я невольно испытываю тревогу, думая о том, что плата за нее может оказаться слишком высока. И в самом деле, сегодня утром над нами словно промелькнула тень какой-то смутной угрозы: песнь Фифио внезапно смолкла, будто оборвалась у него в горле, подобно заглушенному рыданию, – как если бы он почувствовал, что наш диалог не продлится долго, и решил по своей воле положить ему конец.

Итак, было утро субботы, я был болен и оставался у себя в комнате (как это случилось? я не мог этому помешать!) – и вот появился Фифио. Его крылья были широко распахнуты, словно сбившаяся королевская мантия, его пурпурная корона, венчавшая горделивую, словно у орла, голову, казалась объятой пламенем – никогда еще он не был столь великолепен, столь преисполнен жизненной силы и красоты. Он казался крылатым воплощением Зевса. И этот Фифио Великий поспешно

взбежал по лестнице и, выпятив грудь с роскошным белым жабо, толкнул ею дверь. Он предстал передо мной, как низложенный монарх, не отрекшийся от своего сана, ища убежища и спасения у своего единственного друга. Он мгновенно вспорхнул на мою кровать, укрылся в моих объятиях – мне пришлось широко развести руки, подобно его распахнутым крыльям, – и спрятал голову между моей шеей и обнаженным плечом, закрыв глаза. Он, такой недоверчивый последние несколько дней, полностью отдал себя в мое распоряжение и позволил себя баюкать, охваченный явной тревогой, трагическим предчувствием, рвущимся из души отчаянием. Что за новую провинность он совершил, что за проступки были на его совести? Что за разгром он учинил, внезапно вернувшись к своему прежнему буйству?

Оказывается, Элиза, – которая сейчас пылала гневом, как и он, – всё это время притягивала его, соблазняла, возбуждала с каждым днем сильнее и сильнее. Он не прекращал нападок на нее и постоянно искал случая ее запугать своими боевыми танцами, которые постоянно исполнял при ее появлении (хотя передо мной – никогда), и вот сегодня утром атаковал ее каблук, разорвав сетчатую ткань ее шелкового чулка своим клювом.

– Ты умрешь.

Об этом новом его злодеянии я не знал, и как раз накануне порадовался, что все стра-

хи, внушаемые им Элизе, кажется, улеглись. Поэтому, успокоив моего Фифио, я с легкой душой отнес его обратно на лестницу, где в лучах солнца в последний раз увидел это чудесное существо, которое внизу, у последних ступенек, ждала Смерть.

Утро заканчивалось, и я всё это время ничего не слышал, кроме вкрадчивого, приторного голоска Элизы: «Коко, мой Коко, ну, не бойся. Ты же знаешь, я не причиню тебе зла». Но это была обычная ее манера. «Они помирились», – сказал я себе и задремал.

Время завтрака уже давно миновало. Была половина второго. Тишина во всем доме поразила меня. Я решил слегка оживить наших домочадцев и спустился вниз. Казалось, все предметы застыли в странной, торжественной неподвижности. Не только дом, но и сад были окутаны непроницаемым, погребальным безмолвием.

Тогда я отважился заглянуть в кухню, и в один миг удушающая паутина, окутавшая и сдавившая мне сердце, разлетелась в клочья.

Всё еще в оцепенении я поднес руку к глазам. Прекрасное создание, которое я совсем недавно видел живым, горделивым, облаченным в роскошный наряд, – лежало на столе бездыханным, холодным, нагим и жалким. Пурпурно-золотая корона превратилась в линялый лоскут, в бессильно свисающую бледную вялую тряпицу. Несколько застывших на плитках пола рубиновых капель были единствен-

ным напоминанием о последних минутах его жизни.

В моих ушах все еще звучал этот голос, звавший его с притворной, вероломной нежностью.

Зло уже свершилось. Всё было кончено.

О, безжалостный, жестокий вердикт! о, растерзанные лохмотья былого великолепия! Как узнать Фифио в этом трупе, в этих останках – в груде снежно-белых перьев, в миске с кровью, в мутных, потускневших глазах, в беспомощно приоткрытом клюве, в бледном гребне, который прежде так сиял, в широкой ране на горле, где зияла перерезанная сонная артерия, которая прежде наполняла его кровью?

Добрых четверть часа – к счастью, оставаясь в одиночестве, – я проклинал ту, которая обладала силой умножать жизнь вокруг себя, а затем в один миг устраивать чудовищную бойню. Ах, если бы во всем мире были только он и я! Тогда бы Фифио, конечно, не умер – то есть умер другой, хорошей смертью, просто от старости.

Я вернулся в постель и еще долго плакал.

Меня больше не интересовало ничего вокруг – словно с его смертью дом разом лишился души, убранства и голоса.

Служанка признала правоту мадам. Ах, с какой радостью я отделяю себя от тех, кто прав! Как мало меня заботит собственная неправота!

Какая бездна пролегает между мной и теми, кто может, под каким бы то ни было предлогом, обречь на смерть живое существо, будь то даже муравей или дерево. Вот в чем главное наше отличие. И я никогда не смогу найти в себе силы, чтобы вмешаться и прекратить чужие страдания.

– Ты не меня должен проклинать, а Бога

и Природу – я-то всего лишь следую примеру первого и законам второй, – насмешливо говорит объявившаяся Элиза.

Как теперь смотреть на сад в отсутствие моего персонального светила, которое озаряло его, оживляло, оберегало? Без Фифио всё словно погрузилось в невидимую, но ощутимую, обволакивающую тьму.

Три часа дня.

– Чувствуешь, как вкусно пахнет?

– Нет.

– Неужели до тебя не доносится этот дивный запах из кухни?

– …

– Поскольку ты когда-то его предупредил, что однажды его съешь, ты получишь его жареный гребешок.

При виде столь бесстыдного цинизма оставалось лишь в шутку ударить ее, а потом сесть за стол, расквитавшись таким образом и с ней, и с собой, и с несчастной жертвой.

Но чему я никогда не устану удивляться – это той легкости и быстроте, с которыми она

перемещается в гуще событий, которые сама же и создает, среди ситуаций, буколических или драматических, в которых она не боится всячески подчеркивать свое благотворное участие, чтобы потом обернуть его во зло. Еще накануне она всячески восхищалась птицей, которую взлелеяла на своей груди, – и вот сегодня в одно мгновение возненавидела ее настолько, что нашла в себе смелость избавиться от нее, убить ее, приманив обманным путем, а потом еще и наслаждаться вкусом ее мертвой плоти. Варварство это или некая особая разновидность господства, королевского величия? Никакие обстоятельства не могут смутить ее надолго.

Ближе к вечеру Элиза пришла ко мне и сказала, явно пытаясь меня утешить:

– Меня страшно угнетает эта тишина, которую он оставил после себя.

И, словно оправдываясь, добавила:

– Наша жизнь была прекрасна или хотя бы переносима только благодаря этому существу, такому трогательному и одновременно жестокому. Теперь она поблекла и вызывает у меня отвращение.

Скорее всего, так она пыталась изобразить в собственных глазах недавнюю трагедию как нечто, свершившееся по воле рока, без всякого ее участия и даже ведома.

– Он забрал у меня силы и спокойствие. Его живость затмила мою. Только его было видно

и слышно. Его кончина вернула мне мою уникальность, мое первенство. Признаюсь, я не знала, что с ним делать. Его буйство, энергия, весь этот вызванный им шум и кавардак меня утомляли и раздражали. Может быть, я ревновала из-за того, что он меня затмил. Но что бесспорно – мы были с ним из одного теста.

Она заплакала.

270 – Никогда ни одно животное так меня не занимало. Теперь мне его не хватает. У себя дома я чувствую себя не в своей тарелке. Я постоянно ищу глазами его силуэт, который теперь остался только в моих воспоминаниях. То и дело мне кажется, что я слышу, как он поет. Но нет, всё кончено. И кончено потому, что я сама этого захотела. Это я отменила наш вечный праздник, нашу бравурную музыку. Теперь, когда его нет, мы оба в трауре, но моя драма иная, чем твоя.

Я попытался выяснить, как он вел себя перед смертью.

Элиза: «Он был слишком живой для того, чтобы жизнь быстро покинула его тело».

Петух мертв.

– Входя к нам в дом, все, и мы сами, прежде всего смотрели на него, радостно и восхищенно, как при входе в церковь все в первую очередь обращают взгляд к остенсорию.

Эту надгробную речь произносит Элиза в телефонном разговоре с Мари, после чего речь заходит уже совсем о других вещах:

– Нет, всё-таки знаешь, Мари, он мне страшно надоел. Как только я выходила в сад, он начинал клевать меня за ноги, и я с трудом отбивалась. А иногда вцеплялся когтями мне в бедро и взбирался до пояса. В один прекрасный день он взлетел бы еще выше и изуродовал мне лицо. Стоило чуть приоткрыть входную дверь, и он сразу врывался в дом, пачкал мои ковры, трепал мои подушки, взлетал на мою кровать. Иногда он кричал во все горло, созывал своих кур, чтобы угостить их своей добычей или просто приласкать, а иногда набрасывался на них и клевал – жестоко, до крови. Просто безумец! Я уже не чувствовала себя хозяйкой в своем доме. Теперь я снова ею стала. Но, конечно, дом отныне кажется безжизненным. Фифио мертв, Марсель в слезах. И к тому же я заставила его съесть гребень… А себе оставила сердце. Аминь.

Между сияющим, живописным образом живого петуха и другим, самым жалким образом петуха мертвого и ощипанного – только воля Элизы, развязавшей эту катастрофу. За короткий отрезок времени, разделяющий эти два состояния, перестала быть величайшая мистерия – чудо Жизни. Мгновенный переход на другой уровень, от уничтожения к небытию, свершился почти незаметным движением клинка, пробившегося лишь чуть дальше. Убежденная в своем могуществе, она считает, что ее рука, наравне с душой, способна вмеши-

ваться в симфонию жизни, с тем чтобы изменять ее содержание или звучание. Если бы она могла, она бы погасила Солнце, и кто помешал бы ей простереть свои амбиции еще дальше – если бы она только могла!

На следующее утро она уже вела себя так, будто смирилась перед свершившимся фактом,

не подлежащим исправлению, и делала вид, что гордится своим поступком, как если бы это был подвиг; впрочем, может быть, она даже не притворялась, когда заявляла, в окружении своего птичьего двора, ее виной лишенного главы и онемевшего:

– Ах, теперь я еще больше люблю своих курочек! Они такие чинные – настоящие монашки! Право же, нам всем, и мне, и им, стало спокойнее без этого разбойника!

Теперь я почти уверен – эти двое были слишком похожи, чтобы жить рядом, под одной крышей. Петух был в каком-то смысле ее отражением: такой же нарядный, живописный, голосистый, шумливый, непоседливый, буйный, жестокий – совсем как она. Оба в равной степени притягательные, они постоянно оспаривали друг у друга центр нашего маленького мирка. Они были как две пьесы, идущие под одним названием. Разумеется, такое положение дел не могло сохраняться долго.

Кажется, это Жан Поммаре невольно открыл нашей бесноватой фурии глаза на неосо-

знанное и невыносимое для нее соперничество, четко сформулировав то, что она, без сомнения, смутно ощущала. Это произошло в один из тех дней, когда она принесла Фифио в гостиную, чтобы танцевать вместе с ним.

– Если смотреть на вас обоих издалека, вы похожи: оба в белом, у обоих туфли одинакового янтарного цвета и пурпурные головные уборы.

Теперь она такая одна.

Что до меня – воздал ли я ему почести должным образом? Известно, что представители некоторых народов считают наиболее достойной могилой для своих отца и матери собственное чрево; да и христиане питают себя плотью и кровью Бога. В конце концов, есть ли более интимный способ соединиться с тем, кого любишь, нежели съесть его? Может быть, мы не стали антропофагами именно потому, что старались не допускать чрезмерной близости, слишком тесного соседства, отсутствия границ между собой и другими вплоть до полного смешения – возможно, просто из соображений гигиены, точно так же, как со временем отказались от причащения под двумя видами? Но ни сердечный пыл, ни священное таинство не имеют с этим ничего общего – они остаются прежними, не говоря уже о том, что такого рода деликатность, чтобы не сказать слабость, трусость, стыдливость, – всё это наиболее чуждо, если не враждебно, истинной страсти.

Я терпеть не могу преувеличенную сентиментальность – прямую противоположность чувствительности, способности к переживанию, – поскольку она несовместима даже с самыми элементарными проявлениями искренности и отваги. Элизе, по сути, достаточно было лишь подать мне на самой красивой тарелке жареный гребень Фифио, предварительно окунув его в белый соус, а самой, сидя напротив меня, лакомиться его сердцем, чтобы мы все втроем примирились друг с другом, соединившись в общем Дао.

Вот из таких пиршеств и рождается чистый священный ужас, который не имеет ничего общего с безразличием черни, и в котором любые проявления жестокости растворяются без следа.

Издательство Kolonna Publications/
Митин журнал представляет

Марсель Жуандо

ДНЕВНИКИ ДОН ЖУАНА

«Дневники Дон Жуана» принадлежат к циклу тайных сочинений Марселя Жуандо, опубликованных после смерти философа. Чувственные удовольствия – вот сердцевина мира, только ради них и стоит существовать. Жуандо наблюдает за тайной жизнью рта и рук, изучает язык страсти и рассказывает о людях, которые дарили ему свою любовь.

Марсель Жуандо

ПОХВАЛА СЛАДОСТРАСТИЮ

Какова природа удовольствия? Стоит ли поддаваться страсти? Грешно ли наслаждаться пороком, и что есть добро, если все захватывающие и увлекательные вещи проходят по разряду зла?

Марсель Жуандо

ХРОНИКА СТРАСТИ

В 1938 году Марсель Жуандо, не раз выступавший в печати с антисемитскими статьями, страстно влюбился в еврея Жака Штеттинера. Элиза Жуандо пыталась зарезать любовника своего мужа. Эту историю Жуандо рассказал в книге «Хроника страсти», вышедшей в 1944 году приватным тиражом

Издательство Kolonna Publications/
Митин журнал представляет

Марсель Жуандо

О МОЕМ ПАДЕНИИ

Книга Марселя Жуандо была опубликована за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. Однако посвящена она внутренним сражениям – с соблазнами столь сильными, что перед ними невозможно устоять. Душа, в которой самые темные желания трутся боками, точно овцы в ночной глубине стойла, смиряется с неизбежностью греха и приказывает очертя голову броситься в неизведанное.

Марсель Жуандо

ШКОЛА МАЛЬЧИКОВ

В 1948 году шестидесятилетний Марсель Жуандо познакомился с двадцатилетним солдатом Робером Коке. Их любовный роман продолжался 12 лет. В книге «Школа мальчиков» собраны письма Робера и поклонника Жуандо Анри Роде (1917–2004), раскрывающие тайны этой истории. Лишь после смерти Жуандо открылось, что письма Робера писал Анри, подстроивший встречу своего кумира с юношей.

Жиль Себан

МАНДЕЛЬБАУМ, или СОН ОБ ОСВЕНЦИМЕ

В 1986 году был зверски убит 25-летний бельгийский художник Стефан Мандельбаум. Его тело, обезображенное кислотой, нашли на пустыре. Жиль Себан встретился с ключевыми свидетелями его жизни – родственниками, друзьями, любовницами – и попытался в своем документальном повествовании открыть тайну гибели художника. Книга проиллюстрирована работами Стефана Мандельбаума – портретами Бэкона, Пазолини, Геббельса, скандальными эротическими рисунками.

Джордж Сильвестр Вирек

ДОМ ВАМПИРА

Первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек (1884–1962) впервые приходит к русскому читателю с романом «Дом вампира» (1907). В книгу включены записи разговоров Вирека с Адольфом Гитлером, Зигмундом Фрейдом, Магнусом Хиршфельдом, материалы о его отношениях с лордом Альфредом Дугласом и Алистером Кроули.

Эрве Гибер

МОИ РОДИТЕЛИ

После выхода книги Эрве Гибер написал в дневнике: «Я стал преступником. Выхожу на улицу и понимаю: все будет не так, как прежде. Я теперь по-другому смотрю на людей, а они на меня. Я совершил преступление, а они еще не знают об этом. Меня ждет их суд и их приговор».

Герард Реве

ПИСЬМА МОЕМУ ВРАЧУ

С 1963 по 1980 г. Герард Реве переписывался с врачом Яном Гротхёйзе, который помогал ему преодолеть депрессию, вести борьбу с Королем Алкоголем, лечил Реве и его милых мальчиков от различных недугов, а позднее стал психоаналитиком. Спиртное, религия и смерть – темы, которые доминируют в письмах Реве. Гротхёйзе опасался, что писатель наложит на себя руки, однако покончил с собой не пациент, а врач.

Макс Бирбом

ЗУЛЕЙКА ДОБСОН

Все юноши влюблены в Зулейку и сулят ей баснословные дары, она же к ним равнодушна, поскольку не может влюбиться в того, кто приползает к ней на коленях. Что остается отвергнутым? Только расстаться с жизнью. В каноне кэмпа Сьюзен Зонтаг поставила «Зулейку Добсон» на первое место.

Хуан Гойтисоло

ПЕРЕД ЗАНАВЕСОМ

Образ репья, растоптанного сапогами российских солдат, сначала отправленных воевать в Чечню царем, потом Ельциным, потом Путиным – часто возникает в моей повести, я пишу об абсурдности и нескончаемости варварства. Зверства побеждают прогресс, в этом смысле в обществе немногое меняется, а жестокости гражданской войны в Испании повторяются во всех войнах. Возможно, нас следует назвать бесчеловечной расой?

Гертруда Стайн

АВТОБИОГРАФИЯ КАЖДОГО

Окрыленная успехом «Автобиографии Элис Б. Токлас», Гертруда Стайн решила написать сиквел: «И вот приходит время, когда я могу рассказать историю своей жизни». «Автобиография каждого» вышла в 1937 году и прежде не переводилась на русский язык. Стайн рассказывает о своей юности, об отношениях с братом. Но особенно ее волнует трансформация собственной личности, случившаяся после выхода «Автобиографии Элис Б. Токлас». Детально описана поездка в США, перемены, происшедшие с Америкой за тридцатилетнее отсутствие Стайн. «Автобиографию каждого» Стайн заключает словами: «Быть может, я – это не я, даже если меня не укусит собака моя, но, так или иначе, мне нравится то, что у меня есть, а сейчас – сегодня».

Рональд Фирбенк

ИСКУССТВЕННАЯ ПРИНЦЕССА

Рональд Фирбенк (1886–1926) проводил свои дни в изысканной неге. Романы он сочинял на почтовых открытках в украшенных цветами номерах отелей. Его передвижения по миру были непредсказуемыми. «Завтра отправляюсь на Гаити. Говорят, президент там Настоящий Душка!» – сообщала телеграмма, которую получил от него приятель. На торжественном ужине, устроенном в его честь, патологически пугливый писатель решился проглотить лишь одну горошину. Он почитал слово «отдохновенный» и все книги, которые ему нравились, называл отдохновенными. В серии Crème de la Crème впервые по-русски: два романа Рональда Фирбенка и Фирбенкиана – воспоминания друзей писателя о его причудах.

Катрин Колом

ДУХИ ЗЕМЛИ

Древние волны потихоньку разрушают стены замков, деревья плетут заговор, лесные существа, боящиеся света, обступают деревню плотным кольцом, ядовитые пауки бегут с берегов озера на террасы, черви заползают в желудки и дети-призраки, играющие на зеленых трубах, вот-вот найдут звук, точный, вражеский, от которого дома и церкви рассыпятся до основания.

Гертруда Стайн

ВОЙНЫ, КОТОРЫЕ Я ВИДЕЛА

Несмотря на то, что Гертруда Стайн была американкой, еврейкой и лесбиянкой, она не покинула Францию, когда началась Вторая мировая война, и решила остаться в деревушке Билиньин в так называемой «свободной зоне». В 1942 году США вступили в войну, а немецкие войска оккупировали всю Францию. Стайн и ее подруга Элис Токлас в одночасье превратились в представителей вражеской державы. И опять, несмотря на советы друзей, писательница не вернулась на родину, хотя ей и пришлось переехать из Билиньина в город Кюлоз. Стайн и Токлас необычайно повезло: они не были арестованы и благополучно дождались освобождения. Вышедшая в 1945 году книга «Войны, которые я видела» завершает автобиографическую трилогию Стайн. Это размышления о французах, немцах и американцах, еде, собаках и поездах, садах, детях и бомбардировках, маршале Петене, Шекспире и святой Одилии.

Книги издательств «Митин Журнал»
и «Kolonna Publications» можно приобрести в *Москве:*

«Фаланстер», Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
«Циолковский», Большая Молчановка, д. 18
«Москва», ул. Тверская, д. 8
«Московский Дом Книги», ул. Новый Арбат, д. 8
«Библиоглобус», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5
«Индиго», ул. Петровка, д. 17, стр. 2
«Dodo», ул. Солянка, д. 1/2, стр. 1

в *Санкт-Петербурге:*
«Порядок слов», Наб. Фонтанки, д. 15
«Все свободны», Наб. Мойки, д. 28, второй двор

через *Интернет:*
«Ozon» ozon.ru
«Книга» kniga.ru
«Лабиринт» labirint.ru
«Лавка Я + Я» shop.gay.ru/books

на *Украине:*
«Либра» librabook.com.ua